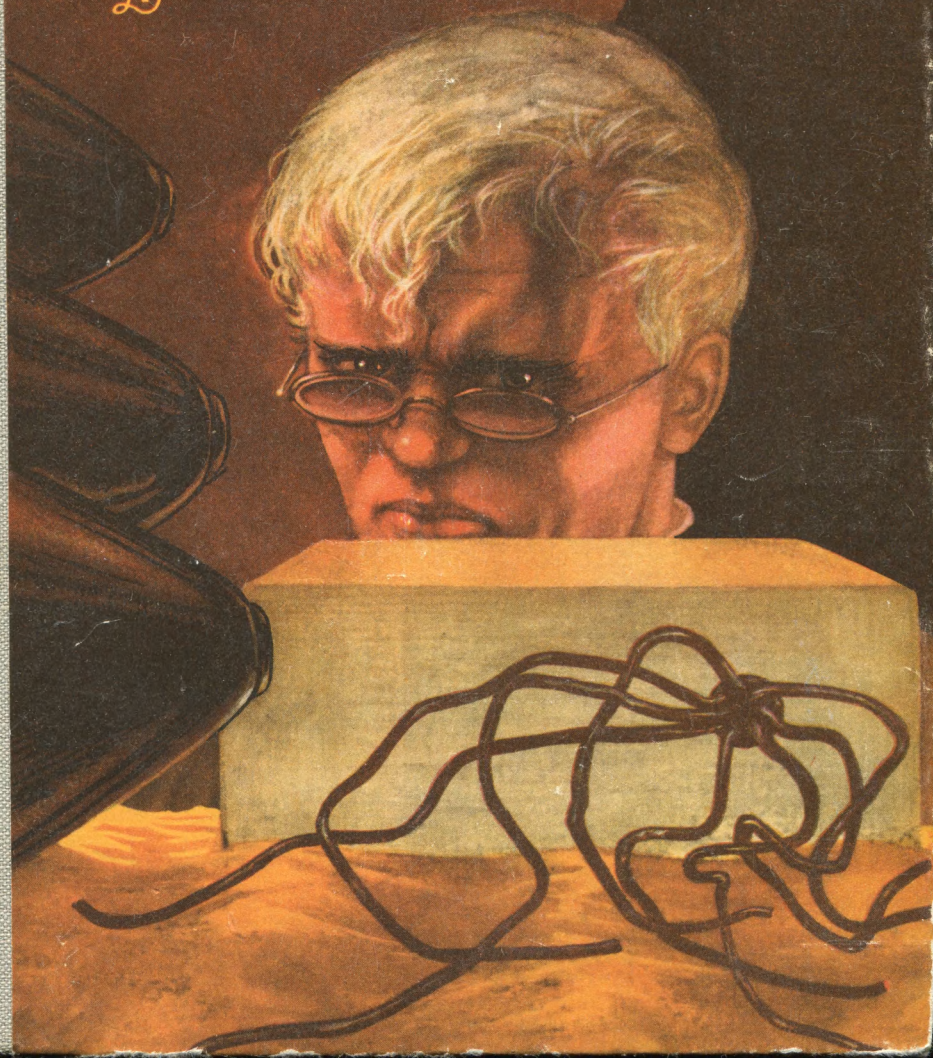


НИКОЛАЙ МОСКВИН

СЛЕД ЧЕЛОВЕКА

Д



НИКОЛАЙ МОСКВИН

СЛЕД ЧЕЛОВЕКА

П О В Е С Т Ь



МОСКВА „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“ 1981

P2
M82

Предисловие В. АНКУДИНОВА

Рисунки С. БРОДСКОГО

Обложка Н. ЛАВЕЦКОГО

М $\frac{70803-005}{101(03)81}$ 463—81

© Предисловие. Обложка.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Николай Яковлевич Москвин родился в 1900 году в городе Туле в семье химика-фармацевта. С детских лет он полюбил книги, много читал, а когда поступил в Тульское реальное училище, стал участвовать в школьных литературных журналах, выступая в них в качестве автора и редактора. Но в средних учебных заведениях царской России, какими были реальные училища, внимание уделялось прежде всего таким предметам, как математика, физика, химия, поэтому Николаю Москвину, испытывавшему особое влечение к литературе, приходилось большей частью заниматься ею самостоятельно, благо дома имелась неплохая библиотека. Произведения прогрессивных русских писателей, проникнутые глубокой любовью к родине, к своему народу, оказали значительное влияние на мировоззрение Москвина, во многом способствовали развитию у него хорошего литературного вкуса.

Это были годы величайшего революционного подъема, все более усиливавшейся борьбы трудящихся России против угнетателей. И с пониманием истинного смысла происходящих событий к юному Москвину, вступающему в сознательную жизнь, постепенно приходило понимание собственного места в этой борьбе.

После Октябрьской революции, в трудное для молодой Советской Республики время, Николай Москвин пошел в Красную Армию — был слушателем военно-инженерных курсов комсостава, командовал саперной частью, воевал на фронтах гражданской войны. И так получилось, что его первыми печатными работами стали военные корреспонденции в газете «Правда». Уже в них отчетливо проявилось незаурядное писательское дарование Москвина, его высокая гражданственная позиция, самобытная манера письма.

Вернувшись с фронта, Николай Москвин поступил в Высшую школу военной маскировки, успешно окончил ее и был оставлен на преподавательской работе. Эрудиция, опыт, приобретенный им на полях граждан-

ской войны, умение четко, ясно, доходчиво излагать свой предмет, найти контакт со слушателями — все, казалось, говорило, что на этом поприще его ждала блестящая будущность. И лишь немногие из его коллег знали, что, закончив лекции в военной школе, молодой преподаватель спешил в Высший государственный литературный институт им. В. Я. Брюсова, где по вечерам он сам становился прилежным студентом. Домой, в холодную комнатку под Москвой, возвращался поздно ночью, садился за стол и при неровном, тусклом свете коптилки принимался писать. Отчаянно мерзли руки, хотелось спать, но надо было успеть сделать как можно больше, пока не наступило утро.

Первые рассказы Николая Москвина, появившиеся в московских журналах, — «Головка шрапнели» и «Свободный полет» — были тепло встречены читателями. Успех помог молодому автору поверить в собственные силы, он продолжал работать с еще большим упорством, настойчиво оттачивая мастерство. Много новых интересных замыслов ждали своего воплощения, но времени для этого совершенно не хватало. Только в 1925 году, окончив литературный институт и демобилизовавшись из армии, Москвин наконец смог полностью посвятить себя литературному творчеству. В 1926 году был опубликован небольшой сборник его рассказов «Шахматы», отдельные рассказы один за другим начали печатать ведущие столичные журналы. Так осуществилась давняя мечта Москвина — он стал писателем.

Творчество Николая Москвина хорошо известно советским читателям. Его перу принадлежат: роман «Маска», повести «Жена», «Конец старой школы», «Чай», «След человека», «Лето летающих», «Два долгих дня», «Одинокый поиск», «Домашний круг» и другие, множество рассказов, которые вошли в авторские сборники «Кошачий характер», «Буквы на клеенке», «Комбат Задвижкин», «Юбилей Гитарова», «Встреча желаний», «Двадцать пять рассказов», «Дни юности», «Чистые пруды», «Солдат издалека»; большое количество статей, очерков, посвященных литературе и искусству, и целый ряд других произведений, опубликованных в журналах или выпущенных отдельными изданиями.

В первых своих произведениях Николай Москвин обратился к наиболее близкой ему в то время военной теме. Еще свежи были в памяти жаркие схватки с врагами Советской Республики, обветренные, усталые лица друзей, с которыми делил все тяготы походной жизни, ел из одного котелка, спал, укрывшись одной шинелью, хоронил погибших в боях товарищей. Драматические события тех лет, героические эпизоды борьбы за Советскую власть, славные подвиги бойцов Красной Армии нашли отражение в цикле рассказов Москвина о гражданской войне.

Отгремели сражения гражданской войны, но борьба за новую жизнь продолжалась. Старое общество оставило в наследство немало пороков, которые мешали людям нормально жить и трудиться, строить социализм. Находились еще приспособленцы и карьеристы, подхалимы и очковитратели, не упускавшие случая устроить личное благополучие в ущерб общественным интересам. Справиться с ними оказалось не так-то просто: они действовали исподтишка, маскируя свои истинные устремления громкими и возвышенными фразами. И Николай Москвин решительно направил свое перо против этих антиобщественных явлений. Он беспощадно разоблачал косность и равнодушие, пошлость и бесхозяйственность, пустословие и стяжательство. Позже сатирические рассказы Москвина составили большой цикл, получивший название «Волшебные рассказы».

Николай Москвин не только обличал пережитки капитализма, его волновали и радовали приметы нового, которые появлялись повсеместно

после победы Октября. Писатель чутко улавливал удивительные перемены, происходившие в сознании людей, в их взаимоотношениях друг с другом, во всей атмосфере строящегося общества, и рассказывал об этом на страницах своих произведений. Он очень много писал о любви и дружбе, о верности и доброте, о чувстве долга и товарищеской солидарности, стараясь передать богатство и многообразие человеческих чувств и душевных переживаний. Москвина всегда привлекал сложный внутренний мир человека, а в новых условиях, когда открылись необычайные возможности для подлинно свободного развития людей, для проявления их лучших качеств, все эти понятия приобрели совершенно особое, высокое звучание.

Иногда Москвин возвращался к событиям тульского периода своей жизни, свидетелем и участником которых ему довелось быть. Так, воспоминания о годах учебы в реальном училище легли в основу повести «Конец старой школы» (в первом издании она называлась «Гибель реального»). По-новому осмысливая все происходившее в училище накануне революции и после нее, писатель показывает, как в процессе борьбы за перестройку образования в средних учебных заведениях России, за утверждение демократических начал в системе воспитания рождался новый, советский человек. Мы видим здесь мастерски выписанные образы учащихся и преподавателей, противоборство реакционных и прогрессивных взглядов, столкновение разных характеров.

Во многих произведениях писателя запечатлены яркие, живые образы его современников — людей смелых, отважных, душевно чистых, болеющих не только за то дело, которым они непосредственно занимаются, но и за все, что их окружает. Таких людей Москвин называл истинными хозяевами жизни, неизменно показывая их нравственное превосходство над обывателями, замкнувшимися в тесном и душном мире своих ограниченных интересов.

В первые же дни Великой Отечественной войны Николай Москвин подал заявление с просьбой зачислить его бойцом в народное ополчение. Но на фронт Москвина непустили. Вместе с другими писателями он работал в Совинформбюро, сначала сотрудником, а потом редактором отдела, и создал большое количество заметок, рассказов, очерков, раскрывающих мужество и героизм советского народа на фронте и в тылу.

Когда страна вернулась к мирной жизни, Николай Москвин продолжал работать над военной темой. После войны вышли в свет несколько сборников его произведений, где нашли отражение личные впечатления писателя, его размышления об увиденном и пережитом, об истоках героизма наших людей в годы самых суровых испытаний. В то же время в книгах Москвина мы по-прежнему находим образы советских труженников с их мирными, будничными делами и заботами. Наблюдается все усиливающийся интерес автора к морально-этическим проблемам, стремление более глубоко и всесторонне раскрыть внутренний мир человека, показать его во всей сложности и многообразии связей с действительностью. Может быть, именно поэтому в пятидесятые и шестидесятые годы Москвин стал чаще обращаться к жанру повести.

«Поздравляю с Новым годом, но еще больше с новой, великолепной, совершенно классической книгой. Много лет я не испытывал такой радости. Спасибо! Обнимаю Вас. Паустовский». В этой новогодней телеграмме, посланной Москвину, речь идет о повести «Лето летающих», опубликованной впервые в 1958 году. Пожалуй, это единственное произведение писателя, специально написанное о детях и для детей. Оно навеяно воспоминаниями Николая Москвина о собственном детстве.

ве, о родном городе Туле, который угадывается в дореволюционном провинциальном городке, описанном в повести. И это глубоко личностное отношение автора к изображаемому придает книге особую прелесть.

Читая «Лето летающих», невольно заражаешься мечтой юных героев покорить воздух. Безмятежно голубое небо, в которое двое друзей-мальчишек запускают свои самодельные воздушные змеи, в какой-то степени олицетворяет их представления о прекрасной, светлой жизни, где всем одинаково ласково светит солнце, где нет глухих высоких заборов, которыми богачи отгораживаются от простых людей. Ребята еще не знают, что такая жизнь скоро наступит и они на самом деле смогут испытать счастье свободного, захватывающего дух полета над притихшей от удивления землей. Пока они только мечтают. А вместе с ними мечтает и читатель.

Сам прекрасный рассказчик, Николай Москвин в то же время умен внимательно и терпеливо выслушать человека, вникнуть в каждую мелочь. Он всегда близко к сердцу принимал чужую беду, горе и заботы других людей, старался сделать все, чтобы помочь им. Те, кому довелось лично знать Москвина, встречаться с ним, видели его неукротимую жизненную энергию, непримиримость к недостаткам. Он обязательно оказывался там, где, по его мнению, нужно было вмешаться, навести порядок, заставить нерадивых, безответственных работников уважать время и труд советских людей, беречь народное добро. И неудивительно поэтому, что в творчестве Николая Москвина, особенно в послевоенный период, ведущее место занимала тема «хозяина жизни».

«...Наши сограждане,— писал Москвин,— делятся на хозяев жизни и на присутствующих в жизни. И те и другие одинаково добросовестно и старательно работают в этой жизни, но одни отвечают и за работу и за жизнь, вторые только за свою работу. Хозяин до всего доходит, он влезает во всякие «не свои», во всякие «чужие» дела, если видит непорядок. Народные интересы — это его интересы. Ему легче, спокойнее вмешаться в то, что он считает неправильным, чем пройти мимо.

Присутствующий никогда ни во что непосредственно его не касающееся не вмешивается. У него только свои заботы, только о своем... А чужое, людское — разбирайтесь сами. И получается: честно работая, честно живя, эти присутствующие в сущности представляют собой что-то тихо нечестное.

...Именно эти присутствующие плодят лентяев и разгильдяев. Среди хозяев любой недобросовестный человек будет хорошо работать — по-другому не позволят».

Особенно отчетливо автор проводит эту мысль в повести «Одинокый поиск». Герой повести, художник Нетелов, совершенно случайно узнает о местонахождении клада. В нем разгораются корыстные чувства, страстное желание потихоньку завладеть богатством и зажечь легкой, беспечной жизнью. Он отправляется в далекий южный город, чтобы отыскать и вскрыть тайник. Кажется, уже ничто не сможет удержать Нетелова от морального падения, вот-вот он переступит ту грань, которая отделяет всех честных людей от людей низких и бесчестных. Но так получается, что на пути к кладу ему то и дело встречаются истинные хозяева жизни. Они не знают намерений Нетелова, и все равно их положительное воздействие оказывается столь сильным, что в конце концов приводит к духовному перерождению героя.

По убеждению Москвина, в любом человеке положительное начало при благотворном социальном влиянии неизбежно одерживает верх. Иногда толчком для этого может стать даже столкновение с негативными

явлениями в жизни. Подтверждение этому мы находим в повести Москвина «Два долгих дня». Вор Ужухов забрался в подполье чужой дачи и выжидает момент, чтобы ограбить хозяев. Он вынужден провести на своем наблюдательном посту довольно длительное время и невольно становится свидетелем жизни обитателей дачи, их взаимоотношений. Хозяин дачи, директор магазина Пузыревский, — не только малокультурный, грубый человек, он еще и бесконечно жадный стяжатель, все помыслы которого сосредоточены на обогащении. В нем Ужухов с изумлением обнаруживает хорошо знакомые, но сейчас, со стороны, такие омерзительные воровские черты. И в душе у вора растет отвращение к своей грязной, жалкой жизни. Испытанное им потрясение слишком велико, чтобы и дальше все осталось по-старому, на своих прежних местах. Теперь он сам способствует тому, чтобы Пузыревского не миновала заслуженная кара. И мы верим, что Ужухов никогда уже не вернется на прежний, скользкий путь, что он станет честным человеком.

Последние пятнадцать лет своей жизни Николай Москвин совмещал писательскую деятельность с преподавательской работой в Литературном институте им. А. М. Горького, воспитывая новое поколение советских писателей. Он щедро делился с молодыми авторами секретами литературного мастерства.

Свои мысли о литературном мастерстве Москвин изложил в книге «Над белым листом», которая представляет интерес не только для тех, кто избрал писательский труд делом своей жизни, но и для самого широкого круга читателей, ибо позволяет заглянуть в творческую лабораторию писателя, понять своеобразие творческих методов самого автора.

Несмотря на тяжелую болезнь, Москвин не выпускал из рук пера, продолжал работать над новыми произведениями, следил за успехами других авторов, своих учеников. Он получал огромное количество писем, рукописей, внимательно их прочитывал и собственноручно готовил каждому автору обстоятельный, исчерпывающий ответ с подробным анализом всех достоинств и недостатков присланных произведений.

29 сентября 1968 года Николая Яковлевича Москвина не стало.

Остались незавершенными многие рукописи, невоплощенными многие замыслы. Но для миллионов советских читателей голос Николая Москвина звучит и по сей день в его книгах, лучшие из которых неоднократно переиздавались у нас в стране и за рубежом.

В повести «След человека», которую мы предлагаем вниманию читателя, речь идет о судьбе скромного, мужественного человека, офицера инженерных войск, совершившего подвиг и затерявшегося на дорогах Великой Отечественной войны. В послевоенные годы, получив о нем новые сведения, семья пропавшего начинает поиски. По ходу событий к поискам присоединяются самые разные люди, которых сближает общее чувство признательности к тем, кто в годы военных испытаний не жалел своей жизни ради освобождения родной земли. И частное, «семейное», на первый взгляд дело постепенно перерастает в общественное. Пока все не разъясняется, участникам поиска приходится разгадывать много всяких загадок.

Писатель Леонид Соболев, выступая на страницах «Комсомольской правды» со статьей «О приключенческой литературе», отмечал, что повесть «След человека» «...написана по всем канонам приключенческой литературы: тут есть и тайна, есть сложные запутанные поиски и борьба версий, есть напряженный сюжет — и поэтому читается она с увлечением». В отличие от многих произведений такого рода, в книге Н. Моск-

вина «нет ни диверсантов, ни бандитов, ни шпионов, ни воров, нет и стандартно-проницательных их разоблачителей. Просто дочь ищет пропавшего без вести отца». Однако, по мнению Соболева, это не только не умаляет достоинств книги, скорее, наоборот — делает ее еще более привлекательной. «Читая повесть «След человека», — писал он, — словно дышишь свежим воздухом».

Главный секрет успеха повести, которая выдержала уже семь изданий, пожалуй, в том, что автор знакомит читателей с людьми сильными и честными — настоящими хозяевами жизни.

В. Анкудинов



Глава первая

НАЧАЛОСЬ ЭТО В МОСКВЕ...

1

В конце июня в отдел кадров завьяловского строительства вошла полная, но статная, лет сорока женщина и с нею девушка и мальчик. В комнате за желтым столом, покусывая карандаш, сидел усатый озабоченный мужчина, а в стороне у окна — толстая, румяная девушка. Шурша синим пыльником, женщина подошла к этой девушке.

— Скажите, пожалуйста, — спросила она, — не могу ли я у вас узнать, работает ли на строительстве Шувалов Михаил Михайлович? Я жена его... Или, может быть, работал когда...

— Это разные вещи! — наставительно сказала толстая девушка.

Смутившись своей строгости, она пригласила женщину присесть, переспросила имя, отчество и, узнав другие сведения о Шувалове, пошла к большому дубовому шкафу. Женщина обернулась к двери, где стояли вошедшие с нею девушка и мальчик.

— Лиза! Витя! — тихо окликнула она их. — Подойдите, сядьте вот!

Они подошли. Мальчик со светлым каштановым чубиком, свисающим на лоб, не походил на мать, но у девушки — лет шестнадцати — были такие же серые, широко расставленные глаза, что делало взгляд добродушным, рассеянным, как и у ее матери. Присев на краешек стула, мальчик тотчас взял с пустого стола черный дырокол и принялся с силой нажимать на упругую ручку. Сестра, ничего не говоря и глядя в сторону, отобрала у него дырокол и молча положила на место.

Шувалова пристально следила за толстой девушкой, которая рылась то в узких книгах, то в картотеке. Обернувшись, женщина встретила взгляд дочери, тоже устремленный к дубовому шкафу, и какая-то неловкая, не то тревожная, не то недоверчивая улыбка промелькнула на ее полных, чуть уже поблекших губах. Она вздохнула, посмотрела в окно и снова перевела взгляд на шкаф.

Так они и сидели, мать и дочь, обе большелобые, сероглазые, с одной мыслью и одним желанием. Для толстой же девушки это было другое — она просто наводила справку. Усатый мужчина шумно выдвинул ящик стола и с тем же озабоченным лицом стал рыться в нем — у него тоже было свое дело. За раскрытым окном пофыркивали самосвалы, едущие с бетонного завода на плотину; со звоном промчались два велосипедиста; по небу шли белые крутые облака — у всех было свое...

Толстая девушка вернулась к своему столу. В руках у нее ничего не было.

— Нет, такой не работает, — сказала она. — Есть двое Шуваловых, но имена другие и год рождения...

— И не работал? — спросила женщина.

— Я посмотрела и выбывших. Там тоже нет.

Лиза быстро проговорила:

— Как же так? — она даже привстала со стула. — Мы же видели его снятым на этой плотине... за работой!

Мать не торопясь обернулась к дочери и строго подняла брови.

— Минутку! — и снова обратилась к толстой девушке: — Вы сказали: «Нет среди выбывших»... Но за какое время?

Та ответила, что она посмотрела за все время восстановления гидростанции, — это нетрудно, так как за че-

тыре года среди инженерно-технических работников вы-
бывших было ничтожное количество: ведь, окончив одну
работу, люди переходили на другую на той же станции.

— Сами понимаете,— сказала она,— как же уехать,
бросить, если уже начали!

— Правильно! Вот папа и должен быть тут теперь...

— Лиза!

Мать опять остановила дочь, и та, недовольная, сжав
тонкие губы, отвернулась к стене. Заметив в руках брата
пресс-папье с вывинченной ручкой, Лиза сразу отобрала
его и положила на место.

Женщина, подумав, помедлив, спросила, не мог ли
Шувалов быть тут на какой-нибудь временной, нештат-
ной работе. Девушка ответила, что это возможно — бы-
вают экспертизы, комиссии обследования,— но к отделу
кадров это уже не имеет отношения и следует обра-
титься к управляющему делами или к главному диспет-
черу.

Шурша синим пыльником, женщина встала. Больше
спрашивать было не о чем. Поблагодарила девушку за
поиски и кивнула детям. Те поднялись и пошли к двери
вперед матери.

* * *

Управляющий делами, худощавый высокий человек,
вежливо склонив голову вправо, выслушал посетитель-
ницу и, не обращаясь ни к конторским книгам, ни к кар-
тотеке, сказал, что в экспертах или членах комиссий
такого не было — он всех помнит.

Шуваловы спустились по лестнице и вышли на улицу.
Невольно остановились у подъезда. Вот и все... Зачем
же они приехали в Завьяловск? Да, на лето, к дяде, но
ведь, кроме того, таилась еще надежда. Впрочем, какая
же надежда!..

Они медленно пошли по прибрежной улице, обсажен-
ной тополями. Был летний полдень. Тополя в аллее
стояли, подобрав под себя тень; за ними виднелась ши-
рокая река, бело-блестящая от солнца, с неразличимым
от этого блеска течением. Сейчас покажется трамвай, на
котором ехали сюда, ехали с ожиданием, волнением.
Но чего можно было ждать! Не лучше ли было жить с тем,
с чем жили эти четыре года...

Весной 1944 года Софья Васильевна Шувалова получила извещение, что муж ее, Михаил Михайлович, инженер-химик по образованию, пропал без вести. Некрасовское «увы, утешится жена...» не оправдалось для нее: утешение не пришло, она помнила об утрате. Но все же четыре года, большая работа в школе, где она преподавала литературу, хлопоты с детьми — все это как-то помогло. Помогло, но не излечило, хотя окружающим и могло так казаться: она редко говорила о Михаиле. Софья Васильевна принадлежала к тем натурам, которые строги не столько к окружающим, сколько к самим себе: ей не хотелось, чтобы ее жалели, сочувствовали ей, ставили ее в какое-то особое положение, она желала быть как все. Ее не тянуло по-бабьи пригорюниться, вздохнуть... Впрочем, может быть... Но только не на людях, даже не при Лизе и Вите.

Наверное, это было нелегко.

Однажды она сидела у знакомых. Хозяйка решила показать ей какую-то гравюру и вытащила из-за шкафа сверток в пожелтевшей газете. Софья Васильевна сама его развернула. На сгибе газеты — строка, набранная крупным курсивом: *«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»* Оставив гравюру, Софья Васильевна подошла к окну и стояла там, продолжая общий разговор, стараясь говорить спокойным голосом...

Люди одной цели, одного желания или чувства легче понимают друг друга. После войны и в следующие годы Софья Васильевна то там, то здесь слышала. такая-то получила известие, что муж жив, другая поехала отыскивать могилу мужа... Ранее не известная ей, а теперь ставшая близкой работница с «Дуката» Настасья Тимофеевна вернулась из Черниговщины заплаканная, но какая-то просветленная: нашла, где муж похоронен... Преподаватель математики из их школы только прошлым летом ездил на станцию Гусино Смоленской области. Отыскался там след его жены, тогда медицинской сестры. Трудно ему было найти, но жители помогли: вот этот холмик с серым камнем... Когда-то на камне было все написано, но время, дожди — остались только отдельные буквы...

Нет, у Софьи Васильевны надежды на это не было:

«пропавшего без вести» не сыщешь, места его не найдешь. И время шло, дети росли, в душе была строка: «Вечная слава...»

Но этой весной появилось в их жизни новое, неожиданное, и вот они втроем здесь, в Завьяловске...

3

Началось это в Москве майским вечером. Две подружки сидели в черно-белой полутьме зрительного зала. Фильм был длинный, составленный из кинохроник, и девушки, посмотрев немного на экран, стали шепотом переговариваться об экзаменах, о том, кто и где будет летом. Неожиданно Лиза воскликнула:

— Папа!

Варя вздрогнула, ничего не поняла: этого не могло быть...

— Какой папа?

Но, взглянув на Лизу, подавшуюся вперед, и заметив в полумраке ее заблестевшие глаза, устремленные на правую часть экрана, Варя, перехватив ее взгляд, увидела там человека в меховой безрукавке, который, стоя в какой-то дощатой, грубо сколоченной люльке, куда-то медленно спускался на тонком тросе. Под люлькой появилась чернота, которая поползла вверх, а люлька, казалось, остановилась. Когда чернота заполнила весь экран, человек неловко перелез через борт люльки и пошел в темноту. Там, в глубине, показались бледные фонари и какие-то люди в телогрейках и полушубках. Некоторые из них сидели на корточках и пальцами, осторожно, словно боясь наколоться, отгребали что-то сыпучее.

На экране мелькнула надпись: «...и поднимались из пепла дома» — и вслед открылось небо, белые облака, косогор с расщепленными, обугленными деревьями, от которых в ряд шли новые высокие избы с не покрытыми еще ребрами стропил.

Варя посмотрела на людей, которые ходили около ближнего дома или сидели с топорами на крыше, — того человека в безрукавке тут не было. Она взглянула на Лизу и по ее глазам поняла: нет его. Да тут и в самом деле было все другое: и место, и люди, и время года — там в зимнем, а здесь в рубахах, в майках.

— Ведь это кинохроника,— шепотом сказала Варя, объясняя не то себе, не то подруге,— из разных куточков...

— Да... да... А ты видела, как он спускался? — Узкие глаза Лизы были сейчас круглы и блестящи.— Я его сразу узнала.

— Но ведь его нет?

— Нет...

— Как же тогда?

— Я не знаю...— Лиза снова стала смотреть на экран, точно ожидая объяснения. Но там все было другое и другое.— Ах, зачем мы болтали! Наверное, папа давно показался!

— Вот совсем и не давно! Я смотрела...

— Ничего ты не смотрела, а говорила!

— Нет, и смотрела!

Получалось, что Варя виновата, хотя Лиза говорила во время сеанса больше ее. На круглом, краснощеком лице Вари появилось недовольство, и полные губы ее вытянулись, но, понимая волнение Лизы, она легко взяла вину на себя.

— Все равно,— сказала она примирительно,— тебе придется смотреть эту картину еще раз.

Лизе это как-то не пришло в голову. Ей казалось, отец появился и исчез. А ведь можно смотреть еще и еще — с мамой, с Витькой.

Они вышли из кинотеатра. Над городом лежали поздние и редкие для мая мглистые от жары сумерки. У белых тележек с газированной водой стояли молчаливые очереди; несмотря на поздний час, поливали улицы — пожилая дворничиха со строгим лицом обливала пологих, в одних трусах, мальчишек, с визгом и смехом лезущих под белый, тугой жгут воды.

Вода попала и на Варю, и она тоже вскрикнула и засмеялась, но, взглянув на озабоченную Лизу, смолкла.

— Я не понимаю... Тебе радоваться надо,— сказала Варя, желая оправдать свой смех.— Ведь жив!

— Не может этого быть! Давно известно...

Лиза отвернулась и стала смотреть на витрину гастрономического магазина, мимо которого они проходили: картонные консервные банки, деревянные сосиски, окорок из папье-маше... А дальше — пуговицы, флаконы, чулки... Начался другой магазин.

— Тогда, значит, ты перепутала,— тихо, в тон подруге, сказала Варя.— Это не он, а только похож на него, тем более что стоял в профиль.

— Ну как не он! Когда улыбнулся, когда посмотрел вниз... Ну поворот головы, руки — все...

— погоди! — Варя, блестя глазами, смело схватила подругу за руку и остановила ее.— погоди! Ведь эту картину составляли из разных хроник, и там мог попасться кусочек, где твой папа снят раньше. Понимаешь, раньше, на фронте.

Но Лиза не поверила, как Варя рассчитывала.

Она внимательно посмотрела на простодушное, полное щеки лицо подруги.

— Папа пропал без вести в начале сорок четвертого года,— сказала она, продолжая путь, и Варя выпустила ее руку.— А здесь, в картине, восстановление после войны. Это раз. А второе — ты же видела, он не в военной уже форме, а в гражданской. И там, в этом черном подвале, что ли... тоже все невоенные люди.

— Ну, тогда, значит, он жив! — воскликнула Варя.— Я же тебе говорила! Жив! А ты говоришь — не может этого быть. Жив, и его можно найти.

Лиза и сама видела, что она запуталась в догадках. И вдруг, несмотря ни на что, радость, что отец жив, радость, которую она все время от себя отгоняла, охватила ее. Неизвестно где, но жив. Папа!.. Она поедет к нему, увидит его... Но тут услышала: «...и его можно найти!»

Она прошла несколько шагов, смотря себе под ноги, потом — на ограду университета, мимо которого они проходили. Ломоносов, стоя на низком темном пьедестале, молча читал бронзовую рукопись.

— Нет, если он жив,— твердо сказала Лиза,— то ни я, ни мама его искать не будем. Зачем? Раз он сам...

К дому Лизы они подошли молча, и Варя, которая, еще выходя из кино, мечтала первой, прямо с порога, выкрикнуть: «Софья Васильевна! Мы только что видели Михаила Михайловича!» — сейчас решила не идти в дом, хотя и очень хотелось посмотреть, какое впечатление произведет эта новость. Ей, как и Лизе, было шестнадцать лет, и женское любопытство жило в ней уже не первый год. Но Варя понимала: в семье у Лизы сейчас будет или напоминание о старом горе, или новое горе — она тут лишняя...

— Сколько сейчас времени? — быстро спросила Софья Васильевна, когда Лиза рассказала о виденном.

Она посмотрела на столик, где лежала ее шляпа. Но Лиза остановила мать: начало последнего сеанса в десять, а сейчас уже было без пятнадцати.

— Пока доберемся... Опять пропустим. Лучше прямо с утра.

— Опять! — Софья Васильевна усмехнулась. — Я бы не пропустила... Ну, а что у меня завтра? — Опершись на колени, она тяжело встала с дивана, подошла к письменному столу, где под стеклом лежало школьное расписание. — В седьмом классе с часа пятнадцати, в восьмом с двух десяти...

— Ну вот, значит, утром ты свободна. Прямо на первый сеанс.

Они рано легли, но не сразу заснули — сперва говорили, потом так лежали, прислушиваясь к спокойному дыханию Вити.

4

Наутро они вместе смотрели фильм «Снова жизнь». Сперва показывали войну: грузовики с пехотинцами, перебежки солдат между кирпичными развалинами, многоствольные орудийные залпы. Лиза все это вчера видела и ждала того места, где она перестала смотреть на экран.

— Скоро? — спросила Софья Васильевна.

— Скоро, наверное.

Вслед за откатывающейся войной потянулись жители. Они возвращались домой на лошадях, на баржах, по железной дороге, но всего больше пешком, толкая впереди себя самодельные тележки. Проехала тележка с узлом, на котором сидела кошка, и Лиза поняла: где-то тут она начала перешептываться с Варей — кошку эту она вчера не видела.

Вскоре появилась надпись: «За возвращением начался труд». Восстанавливались фабрики и заводы, мосты снова перешагивали через реки. После слов: «Возрождались плотины» — гигантской полудугой, напоминающей челюсть, показалась плотина, преграждающая реку. Чернели выбитые зубы бетонных бычков. Вот уце-



левшие бычки вблизи, высокие, стройные. Минуя их, шел по плотине невысокий, узкоплечий человек в шинели. Он поравнялся с краном, снял шинель, остался в меховой безрукавке.

— Вот! — Лиза сжала локоть матери. — Ты видишь?

Ну конечно! Она его узнала, еще когда он шел по плотине невоенной, штатской походкой — руки неподвижны в ходьбе. Сквозь ограду в виде перекрещенных колосьев было видно, как он влезает во что-то, и вот кран выносит его в дощатой, грубо сколоченной люльке через ограду, через колосья и на тонком тросе медленно спускает куда-то...

С этого места Лиза смотрит как на знакомое: сейчас люлька дойдет до черноты, откроется какой-то подвал, покажутся люди, что-то отгребающие...

Когда на экране появилась надпись: «И поднимались из пепла дома» — и на кособоре опять выстроились в ряд новые избы, Лиза тихо сказала:

— Все. Больше не будет...

Но Софья Васильевна, возбужденная и молчаливая, досмотрела картину до конца: может быть, девочки вчера снова переговаривались и еще что-нибудь пропустили...

В автобусе они говорили о шинели, которую он снял перед люлькой. Все становилось на прежнее место: кинооператор повстречал отца когда-то на фронте, а дальше было известное, уже пережитое — март сорок четвертого года... Однако Лизе не все было ясно.

— Но то, что мы видели,— это же не фронт! — говорила она.

Автобус шел по солнечной стороне улицы, близко к домам, и жар нагретого камня проникал в открытые окна машины. Софья Васильевна медленно обмахивалась газетой. Ей не хотелось говорить: увиденное еще стояло перед глазами, и она как бы вглядывалась в него.

— Ну что ты! — Она ответила не сразу.— Почему не фронт? На фронте не только стреляли, но и строили.

— Но ты, мам, помнишь надпись: «На освобожденной земле начинался труд»? Кто же начинал восстанавливать? Не военные же! Ведь война тогда еще не кончилась, а только дальше ушла. Военные-то на фронте были нужны, а папа вдруг тут!

— Чем же тогда объяснишь, что на нем шинель с погонами?

Лиза не ответила, отвернулась к окну. Автобус стоял, и в открытую дверь его медленно втягивалась очередь. Последним подошел худощавый человек с рулоном ватмана под мышкой. Он прихрамывал.

— А знаешь, как Варин дядя! — вдруг сказала Лиза.— Из-за раны был демобилизован и стал работать. Пока пальто не сшил, ходил в шинели.

— Без погон.

— Ну да, без погон...— И Лиза, помолчав, вернулась к своей мысли: — Не мог папа восстанавливать какую-то плотину, если война не кончилась... Подожди, мама! — прервала она себя.— А не бывает, что военные части в мирное время, после войны, помогают каким-нибудь стройкам? Ведь если это бывает, то тогда и с шинелью и с погонами все правильно. Он сейчас на военной службе и где-то помогает. Может так быть?

— Ну, вообще-то может быть... Но ты одного не понимаешь: отец, где бы он ни был, приехал бы, давно бы написал.

Для Софьи Васильевны все было ясно: хроника эта

старая, снята во время войны, потом пришло извещение. Нет, надежд никаких... Но вот на экране плотина, люди — видимое, живое место на земле, где Михаил действительно работал, жил... Может, это и было последним его местом. Тут даже яснее, чем у Настасьи Тимофеевны с «Дуката». Та начинала со слов, с догадки, а здесь все явное, все верное...

Софью Васильевну охватило чувство: вот сейчас же, немедленно, поехать туда, узнать о нем, услышать...

Она отвернулась к окну автобуса и стала смотреть на улицу. Нет, школа, занятия — не уедешь. Надо пока хоть разузнать.

5

Это было начало. Потом навели справки: плотина, которая фигурировала в фильме, оказалась Завьяловской. Это далось легко — плотина была знаменитая. Но о том, когда снимали, узнали только общее, неопределенное: после освобождения Завьяловска, когда начали восстанавливать гидростанцию. Однако сюда могли войти кадры и из более позднего периода — ведь эта станция до сих пор восстанавливается.

Софья Васильевна вздыхала. Впрочем, и у Настасьи Тимофеевны тоже вначале была неопределенность.

Послали запрос на имя начальника строительства. Долго не было ответа. На второй запрос какой-то канцелярский старатель любезно сообщил: «Ваше отношение получено и передано в ОДТК». Что это за буквы, что они значат? Вскоре из этого «ОДТК» пришел ответ: «В названном отделе такой не значится и не значился...» Лиза удивилась: «Разве ты спрашивала о каком-то отделе, а не о всей стройке?» Софья Васильевна ответила: «О всей. Напутали...» И опять как утешение на память пришли другие искатели: у путешественника на станцию Гусино тоже на дороге были путаники... Что же из того, что это большое, первостатейное строительство, — такие люди везде найдутся!

Но что же дальше? Только одно: надо оставить эту канцелярскую переписку, дожидаться летних каникул в школе и самой поехать в Завьяловск. Михаил снят на плотине, значит, несмотря на всякие ОДТК, в Завьяловске он был, и по всем ее расчетам получалось, что там-то и были его последние дни... Может быть,

есть люди, которые его помнят, есть дом, где он оставался. Она войдет в дом. Может, что сохранилось: обрывок письма, карточка, пуговица — все дорого. И, может, прояснится, исчезнет это «без вести»...

Она сказала об этом Лизе. Та тотчас согласилась — ну конечно! И она тоже поедет...

У молодости всегда больше надежд, и надежды эти живучи. Возникнув, они тотчас укрепляются доводами, предположениями, и вскоре всякие зыбкие «может быть» отпадают.

У Лизы не сразу так получилось. Надежда, что отец жив, привела к мысли: он оставил семью. Это было горько. Прямодушная, решительная по характеру, она сразу же сказала Варе: «Если так, то ни я, ни мама его искать не будем». Но Лиза помнила отца, знала его по рассказам матери и потому не могла принять это объяснение. Оставить же надежду, согласиться с матерью, что отца нет, было еще невозможнее. Об этом она не хотела и думать, искала другую, не обидную для матери, для нее и Вити причину. И она была найдена — сперва предположение, сперва «может быть», но вскоре прочно, нерушимо. Именно так!

Встретила случай в книге: из-за непоправимого ранения человек не вернулся к семье, не хотел, чтобы его видели таким. И еще, как бы в подтверждение, случай уже у себя дома: пришел из домоуправления новый электромонтер, а щека у него от новой кожи блестящая, точно лежит квадрат прозрачного целлофана. Может быть, тоже родным не показывается. А у отца могло быть серьезнее, недаром он в люльке стоял в профиль, а когда по плотине шел, было все мелко, не разобрать...

Довод был хороший, верный, хотя и непростительный для отца, и надежда стала прочной, не сбить. Теперь только одно — найти его, привезти домой. И, когда мать сказала, что она поедет в Завьяловск, Лиза тотчас и решительно ответила — и она тоже.

— Курс — норд, мама! — сказала она улыбаясь.

Отец любил Седова, рассказывал о его путешествии к полюсу, а перед отъездом оставил Лизе книгу, где на снимках со старых фотографий снег без конца и края и, наверное, такая тишина, что дыхание слышно. Книгу прочла много спустя после отцовского отъезда, и седовское смелое, безоглядное «курс — норд» запало в память.

— В данном случае не норд, а зюйд! — сказала Софья Васильевна.

— Все равно курс — норд! Ты меня понимаешь!

Софья Васильевна подумала: «Что бы ни узнали в Завьяловске, Лиза имеет право там быть — не маленькая...»

Дальше судьба благоприятствовала. Решено было, что летом, на каникулы, пока Витя будет в лагере, они вдвоем съезжат на недельку в Завьяловск, а потом своим чередом куда-нибудь под Москву. Но недели за две до отъезда пришло письмо от Всеволода Васильевича, брата Софьи Васильевны. Инженер-механик, он был направлен министерством на вновь открытую в Завьяловске кондитерскую фабрику. В письме он звал к себе сестру с детьми на все лето.

Живу я,— писал он,— как и полагается холостяку, в одной комнате, а вторая и кухня в полуобитаемом состоянии, скоро там заведутся привидения. Соседи по дому приличные, дом стоит в саду. Садов в Завьяловске вообще много, и каждую неделю что-нибудь цветет: то черемуха, то яблоня, то сирень... А наша фабрика совершенно бесплатно подбавляет к этому букету еще запах ванили и грушевой эссенции. Ну где ты еще подобное найдешь? А пляж на реке! А воздух! А плотина, которую надо показать и Вите и Лизе,— ведь дети ее только в учебнике видели...

Софья Васильевна не знала, что ответить брату. Это было совсем другое — она хотела съездить ненадолго, узнать о Михаиле, а тут вот всей семьей, всем домом, будто на дачу...

Как ни важно было то дело, ради которого она должна быть в Завьяловске, Софья Васильевна не могла не подумать, хватит ли денег на такую семейную, на все лето поездку. Но среди знакомых нашлись советчицы, которые рассчитали, что расходов там будет меньше, чем если это время прожить под Москвой.

Если так, то чего же лучше — в розысках они не одни будут в чужом городе. И пристанище и помощь от брата.

И Софья Васильевна с детьми тронулась в путь.

Дорога была нетрудной, интересной и для ее дела полезной. Познакомились в пути с неким Павеличевым.

Это был молодой человек с черными густыми бровями, в синей куртке с длинной молнией. Он был студентом третьего курса — будущий кинооператор — и ехал в Завьяловск на открытие восстановленного шлюза. Его съемочная группа была уже на месте, и он волновался: успеет ли? Шлюз могли открыть и раньше срока.

Лизе, как многим в ее возрасте, профессия, связанная с кино, казалась необычайной, даже таинственной, а сам обладатель этой профессии — существом особым, недоступным. Но Павеличев оказался самым обыкновенным: играл, как и все в вагоне, в домино, бегал за кипятком на станциях, мягкой проволочкой ловко укрепил ручку на чемодане какой-то старухи из соседнего купе. Но самой главной обыкновенностью была взятая им из дому бутылка с кипяченым, желтым у горлышка молоком, из которой он, отвертываясь, потихоньку попивал.

Свою профессию он любил, говорил о ней охотно, но без похвалы, и тоже получалось «ничего особенного». Конечно, частые переезды — это было интересно, и Лиза подумала: через год ей надо будет выбирать профессию, хорошо бы тоже с разъездами — новые места кругом, новые люди...

Софья Васильевна, не любившая посвящать посторонних в свои дела, все же рассказала Павеличеву об увиденном на экране весной: это ему близкое, может быть, что знает. Тот сказал, что такие случаи — заметили кого-то из родных во фронтовой кинохронике — очень часто происходили во время войны, и, по словам старых операторов, всегда было много запросов на киностудию.

— Но, по правде говоря, — сказал Павеличев, сводя черные брови к переносице, — найти выходные данные о каком-то трехметровом кадре из какой-то старой хроники — дело сложное, надо копаться в архиве.

— А если из новой, недавней хроники? — спросила Лиза, думая о своем, о решенном для себя.

Павеличев ответил, что это легче, и поскольку место уже установлено точно, то время можно узнать и на самом строительстве. Для этого только надо зайти в отдел кадров, где все известно. Тем более об инженерно-техническом работнике...

Вот и Завьяловск! Лиза вышла на перрон со странным чувством: тут был отец. Давно или недавно, но этого вокзала он никак не миновал. Огибал здание, спускался, вот как и они, по этим ступенькам в город...

Вот и дядя Сева! Он встретил их не на перроне, а вот тут, на ступеньках.

— Ну, все здесь? Не растерялись? — громким, веселым голосом окликнул он их. — А я, как видите, запоздал.

Голос у дяди Севы густой, и сам он высокий, плотный. Большими, сильными руками подхватил чемоданы и легко понес их к машине. Таким Лиза и помнила его раньше — большой, сильный... Он и чай-то тогда пил из тонкого стакана, опущенного в тяжелый, с крупной резьбой подстаканник, — иначе нельзя: незащищенное стекло в его руках сломалось бы.

Введя приехавших в квартиру, дядя Сева обнял Витю за плечи и, пройдя с ним в левую небольшую комнату, сказал:

— Тут будут спать мужчины. А тут, — вместе с Витей, который под его большим рукавом был еле виден, он вернулся в первую, просторную комнату, — а тут поместятся дамы, которые будут нас три раза в день кормить. Довольно нам с тобой бегать по столовым! Впрочем, если их лень одолеет, — он говорил, поглядывая на Витю, — то можно брать обед в нашей фабричной столовой.

И это Лиза помнила: дядя Сева всегда был балагуром, и хорошо, что он не изменился, около него будет уютно, легко.

Прежде чем снять шляпу перед тусклым от пыли зеркалом, Софья Васильевна перчаткой протерла на нем светлый овал.

— Да у тебя, наверное, и кастрюль нет! — сказала она, приближая лицо к овалу. — И на чем ты готовишь?

Всеволод Васильевич опять заглянул под свою руку.

— Ты слышишь, Вить, какое странное мнение! У инженера — и нет кастрюли! А чай себе он, наверное, кипятит на свечке! А не знают того, что у него две настоящие кастрюли, один чайник, одна сковородка и три электрические плитки.

Софья Васильевна вынула из кошелки дорожную салфетку и ею вытерла теперь уже все зеркало.

— Плиток чересчур много, а кастрюль мало,— отозвалась она.

— Ничего не много! Как раз хорошо, что три плитки! — бурно заговорил Витя, и дядя Сева даже чуть приподнял руку, чтобы дать Вите свободно высказаться.— У нас, когда перегорит плитка и пока я чиню, все останавливается, а мама меня торопит, а я спешу, а она говорит...

— Абсолютно верно, Витенька! — примирительно сказал дядя Сева, опять обнимая мальчика.— Тем более простительно иметь три плитки, что находятся они рядом с таким источником электроэнергии, который твоей маме и не снился. Все заводы и фабрики вокруг вертятся на нем. А когда пустят последние турбины, то и на расстояние ток пойдет... Ну, а теперь давай посмотрим, как выглядит красивое стенное зеркало, когда на нем нет пыли. Пойдем и ты, Лиза!.. Да-да, удивительно! В сущности, все великие открытия очень просты.— Всеволод Васильевич подвел Витю и Лизу к зеркалу.— Н-да-а... очень просты, но бывают абсолютно ненужными, я бы сказал — бестактными! До вашего приезда мне было двадцать девять лет, теперь, после стараний вашей милой мамы, в зеркале отчетливо виден сорокадвухлетний человек. Как по паспорту. Такие открытия надо после открытия тут же и закрывать... К сожалению, пыли теперь долго не дадут сесть на прежнее место. Прощай, молодость!

Лиза рассмеялась, тоже хотела что-то прибавить к дядиным шуткам, но Всеволод Васильевич, взглянув на часы, поспешно ушел в соседнюю комнату. Вернулся оттуда с портфелем, озабоченно похлопывая себя по карманам.

— Я тебе, Соня, советую,— сказал он уже другим тоном, пристально посмотрев на сестру,— советую сегодня по своим делам не ходить. Устраивайтесь, отдыхайте от дороги, а уж завтра начнешь. Я буду к семи часам.

Шуваловы устроились довольно быстро, но с обедом в первый день опоздали — надо было освоиться среди чужого и незнакомого: неизвестных магазинов и рынков, неизвестных дядиных полок и ящиков, где надо было найти соль, вилки, скатерть. Но уже на другой день, пе-

ред поездкой в отдел кадров, утренний завтрак был во всем возможном благолепии.

— Ведь это смотрите что! — Всеволод Васильевич, не двигаясь, робко сложив на животе свои большие руки, окидывал взглядом стол. — Скатерть! Вполне белая. Ножи и вилки сияют. Колбаса почему-то не на газете, а на тарелке. А соль — обыкновенная, общеизвестная соль — не в миске и не в кружке, а в солонке...

— Тебе жениться надо, — сказала Софья Васильевна.

— При подрастающем поколении такой вывод делать не стоит, — сказал Всеволод Васильевич, обстоятельно усаживаясь за стол. — После твоих слов можно подумать, что это мероприятие существует только для того, чтобы соль была в солонке, хлеб — на тарелке. Этого даже мы, холостяки, не думаем...

— Ну, конечно, не поэтому, а вообще...

Дядя Сева не спеша постукал ложкой по яйцу и, смяв скорлупу, стал отщипывать ее. Когда показался голубоватый, влажно блестящий купол белка, он положил руки на скатерть, чего-то подождал и поднял на сестру большие серые глаза.

— А если вообще, — сказал Всеволод Васильевич каким-то безразличным голосом, — то это сложно.

Витя, кончивший завтрак, первый сказал «спасибо» и побежал в сад. Следом поднялась Лиза. Софья Васильевна предупредила ее, чтобы она не уходила далеко и приделась, так как после завтрака они пойдут в город, в отдел кадров.

7

После ухода детей Всеволод Васильевич рассказал, что у них на фабрике есть одна сотрудница, живущая на улице Шевченко. В этом же доме во время войны и позже жила ее сестра, у которой после освобождения Завьяловска останавливалось много военных и командированных. Город был разрушен, а у нее тогда сохранились две комнаты, и в одной, как в гостинице, менялись квартиранты...

— Сейчас эта особа в Харькове, но по моей просьбе Наталья Феоктистовна написала ей. Кто знает, может быть, и Михаил тут останавливался... Все-таки какие-то сведения.

«Все-таки какие-то сведения» — у него получилось невольно.

Вчера, после разговора с Софьей Васильевной, он спрашивал о Михаиле Шувалове у одного инженера, давно работающего на строительстве. Но тот не знал такого. Сестре он этого не передал — пусть сходит в отдел кадров сама, убедится. Ей это нужно, за этим она и приехала. Да и узнает поточнее.

Софья же Васильевна поняла слова брата «все-таки какие-то сведения» как убеждение, что все это давно было.

— Да, я тебе то же говорила,— сказала она, отвечая на свою мысль.— Не мог он столько времени молчать...— И вдруг посмотрела на брата прямо, решительно, но с какой-то робкой, невеселой улыбкой.— А знаешь, что-то боязно мне туда идти... Будет что-то новое, чего я не знаю. Новое всегда беспокоит... Вчера как вышла с вокзала, иду и знаю, что вот по этому тротуару и Михаил когда-то ходил...

И, как бы боясь, что брат станет ее жалеть, она повернулась к столу, махнула рукой, словно говоря: «Это я просто так», и с беззаботным видом начала резать тяжелые, прохладные помидоры.

— Если лето тут проживу, то я тебе невесту найду! — сказала она, возвращаясь к легкому, безобидному разговору о женитьбе.

Всеволод Васильевич понял сестру. Он сам не любил печальных, сочувственных слов и охотно поддерживал ее желание. Кроме того, для него это была *такая* тема...

— Это сложно! — повторил он то, что говорил до ухода детей, но уже другим, доверительным тоном.— У меня есть приятель, Сергей Николаевич, тоже холостой. Он так говорит: «Представляешь, просыпаешься утром, открываешь глаза, а она — вот напасть! — у ж е тут!» Правда, Соня, это «уже» прелестно!

— Глупо все это! — Софья Васильевна, оставив помидоры, наливала брату темно-красный, не просвечивающийся в стакане чай.— Чувствую, что никакого такого Сергея Николаевича нет. Это ты сам так думаешь! И глупо, повторяю!

Он взял подстаканник с чаем за толстую ручку, положил сахару, не спеша размешал — ложечка скрылась в его большой руке.

— Да нет, я ничего не говорю...— помедлив, сказал он.— Есть, конечно, очень милые женщины, достойные всяческого уважения...

— Да что ты говоришь!

— Есть, есть!

— Но ты их еще не встречал? — Софья Васильевна спросила с сочувствием.

— Нет, почему же...

Он вдруг поднялся и стал что-то искать. Большой, плотный, он грузно ходил, поглядывая вокруг и похлопывая себя по карманам. Пошел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с двумя пакетиками из вошеной бумаги. В пакетиках лежало штук по десять продолговатых горошин драже шоколадного цвета.

— Вот попробуй из каждого пакетика,— сказал он, кладя их перед сестрой на стол,— и установи, какие лучше. Сегодня на партбюро это будем разбирать. Тут дело такое — умный человек с головоулом борется... А я, ты знаешь, конфеты ел лет тридцать назад, да иногда потом в гостях, по принуждению. А Наталье Феоктистовне — есть у нас такая беспокойная особа — надо точно знать насчет этих пакетиков. Ты понимаешь, она предложила в драже для основы, или, как научно говорят, для «корпуса», закатывать зерна пшеницы, специально ею приготовленные. Дешево и, говорят, вкусно... Это как раз та сотрудница, которая своей сестре написала...

— Это она тебе дала? — спросила Софья Васильевна, вынимая драже из левого пакетика.

— Она. А почему ты улыбаешься?

— Да просто мне теперь понятен твой неожиданный переход с одной темы на другую — с «достойных женщин» на это.— Она кивнула на пакетики.— Значит, что же, Сева, получается: «она уже тут»?

— Вот глупости какие! Ну, как ты находишь? Вкусно?

— Сейчас... Ты пока иди одевайся, уже время.

— Ты зря так понимаешь,— сказал он, присаживаясь на край дивана и поглаживая лацкан на пиджаке.— Это просто очень деловой технолог, энергичный, мы все его уважаем.

— Кого это «его»? О ком ты говоришь?.. Ну вот, эти лучше! — сказала Софья Васильевна, показывая на правый пакетик.— А те почему-то горчат...

— Ага... Значит, с пшеницей лучше? Отрадно слышать... Но почему лучше?

Он взял одну коричневую горошину из этого паке-тика и положил ее в рот. Осторожно и неохотно катая конфету во рту, он словно не знал, что с ней делать.

— Ну что ты морщишься, будто какую-то гайку со-сешь? — Софья Васильевна рассмеялась.

Он покрутил головой и, сжав рот, молча подошел к остывшему чайнику, быстро налил полстакана воды и жадно, двумя большими глотками, запил конфету.

— Уф-ф! Да... — Он снова присел на диван. — Ты говоришь: гайка! Гайка, конечно, лучше, в ней хоть этой противной сладости нет.

— Я вспоминаю, что отец тоже не любил никаких конфет.

— Ну конечно! Как могло быть иначе!

— Да, но у тебя смешно получается! Работаешь на кондитерской фабрике...

— Я имею дело только с техникой, с машинами... Ну ладно, мы заболтались, пора на работу. Ты говори поскорее: почему эти лучше? Но обстоятельно, так ска-зать, научно. Этот вопрос будет на повестке.

Софья Васильевна объяснила как могла, и он даже записал это на листке.

— За авторством я не гонюсь, поэтому можешь ска-зать, что это твое мнение, — добавила она.

— К чему врать! — Он поправил перед зеркалом галстук. — Скажу, что это мнение одной опытной, за-служенной, награжденной и так далее преподаватель-ницы.

— Если на бюро будет присутствовать и эта Наталья Феоктистовна, то для нее «опытная и заслуженная» будет маловато...

Он обернулся, на лице его было выражение недо-вольного ожидания.

— Не понимаю...

По этому выражению недовольства Софья Василь-евна догадалась, что он отлично понял, что она хотела сказать, и это притворство показалось ей не случайным.

— Скажи лучше: твоя сестра, — добавила она крот-ко. — Это будет ей спокойнее.

Он вдруг рассмеялся. Молча надел шляпу, положил в карман папиросы, взял портфель и лишь в дверях ска-зал:

— Имей только, Соня, в виду, что в местных универмагах оренбургских платков и всяких полушалков не держат. Так что сваха рискует остаться без вознаграждения...

После его ухода Софья Васильевна почувствовала: легкое, беззаботное ушло вместе с ним, а сейчас надо ехать, узнавать... Она оделась, позвала детей и на трамвае отправилась в управление строительства.

* * *

И вот ответ! Они шли обратно по набережной, и просторный летний полдень, нарядная аллея тополей, белоблестящая от солнца река не замечались. Только Витя был занят своим — нашел какую-то железку с двумя дырочками и все принаравливался посвистеть в нее...

Когда вошли в дом, Софья Васильевна сняла шляпу, пыльник и присела на диван. А как хорошо начался день сегодня! Она вспомнила беспечные разговоры о женитьбе. Вот будто только сейчас веселый, в шляпе набекрень ушел Сева... Глаза остановились на сухарнице с хлебом, забытой на столе. «Впрочем, у Настасьи Тимофеевны тоже получилось не сразу, — вспомнила она свое утешение. — Раз он тут был, значит, есть же люди, кто видел, знал... Сегодня нет — может, завтра...»

Опять посмотрела на сухарницу и теперь увидала там половину булки.

— Лиза! — окликнула она дочь. — Надо сходить в булочную.

И заботы обступили ее. Софья Васильевна отправилась в магазины, на рынок, потом готовила обед, убирала квартиру. Вечером, когда пришел брат, утренняя неудача отошла еще дальше. Всеволод Васильевич, чтобы ободрить сестру, напустился на отдел кадров.

— Обычные канцелярские штучки! — усмехаясь, сказал он. — Чем копаться в архиве, проще всего сказать «нет»!

Софья Васильевна возражала: искали хорошо, но вот что дальше?

— Да, конечно, надо расспросить людей! — Всеволод Васильевич крупными шагами расхаживал по ком-

нате, и что-то стеклянное позвякивало в буфете.— Еще надо сходить в адресное бюро — может быть, там сохраняют карточки выбывших из города. Может быть, сестра Натальи Феокистовны что-нибудь такое напишет... Впереди, Сонечка, еще много...

— А где адресное бюро? — быстро спросила Лиза.— Я завтра одна схожу. Я уж докопаюсь!

Дядя Сева вскоре ушел на собрание, Витя привел в дом Глебку, насупленного, неразговорчивого соседского мальчика, и они, захватив какие-то веревки, ушли в сад. Для Вити, который в Москве видел только двор, залитый асфальтом, сад — не где-нибудь, а свой, за дверью — был заманчив, тянул к себе...

В доме стало тихо. Через открытые окна доносились далекие звуки оркестра, играющего в парке культуры. Из-за расстояния или из-за вечернего ветра звуки доходили неровно — то слышнее, то тише, — и оттого мелодия казалась грустной.

Софья Васильевна и Лиза, не зажигая света, сидели рядом на диване. Небо потемнело, низкая и еще не яркая луна, перечеркнутая двумя линиями проводов, стояла в крайнем окне.

Как начался сегодня день, так и продолжался, — говорили о Михаиле Михайловиче. От сегодняшнего, от поисков, перешли к прошлому. И тут воспоминания разошлись: у матери была большая жизнь с ним, у дочери — короткие воспоминания детства.

Они сидели, прислонясь к спинке дивана, одинаково вытянув ноги и глядя в одну точку — на крышку сахарницы, блестящую под лунным светом.

О ком же они вспоминали?

Глава вторая

МУЖ И ОТЕЦ. КУРС — НОРД

1

Встречаются в жизни беспокойные, мнительные люди, которые стремятся во все вмешаться, во всем поговорить, указать. Они, вероятно, уверены, что только они одни знают, как лучше, правильнее поступить. Когда подобные люди руководят учреждением или заводом,

они вникают во все, за всех думают, за всех отвечают. По прошествии времени в таком учреждении или заводе образуется свой стиль работы: большое или малое, главное или сущий пустяк требует директорского мнения, распоряжения, инструкции.

Таким был директор завода, где химиком работал Шувалов. Долгое время Михаил Михайлович то потешался над работой Константина Кузьмича, то сердился. А однажды даже выступил на партсобрании. Это было для него событием — он не любил слов, которые могли кого-то обидеть. Но все же решился...

Среднего роста, с белокурыми волосами, зачесанными назад, в светлом костюме, он чинно поднялся на трибуну и в вежливых выражениях, но точно и строго разобрал работу директора и назвал ее опекунской. Нельзя лишать людей инициативы, самостоятельности и ответственности...

После собрания он шел со своей лаборанткой Аней Зайцевой и с препаратором лаборатории дядей Федей. Продолжали говорить о Константине Кузьмиче, вспоминали другие случаи, где показал себя директор-няня. Дядя Федя тоже что-то припомнил, но больше молчал, шел, посмеиваясь в усы, поглядывая на свои резиновые, с короткими голенищами сапоги.

— Михаил Михайлович! — тихо, несмело сказал он, и вдруг в его прищуренных глазах мелькнуло что-то озорное. — А ведь в вас это тоже есть!

— То есть как?

— А так. Приходит азотная кислота — вы сейчас же к бутылки, к пробке: стеклянная или резиновая? А ведь это, — дядя Федя старался говорить ласково, не обидно, — мое дело — смотреть. Или вот бромистая соль или йодистый калий — опять проверка: в темноте или на свету держу? Штангласы после работы притерты или нет — за мною по пятам ходите. А микроскоп, Михаил Михайлович, и совсем не доверяете! Пылинка без вас на него не сядет! До футляра даже не допускаете... А разве я не понимаю, что это не самовар?

Шувалов даже приостановился. Был теплый, но ветреный день. Плащ на Шувалове, зачесанные назад волосы трепало ветром.

— Да разве я потому, что не доверяю? — Насупившись, он маленькой белой рукой пытался застегнуть скользкую пуговицу на плаще.

Степенная, серьезная Аня Зайцева, только что осуждавшая опекуновское поведение директора, вдруг громко, заливчато рассмеялась.

— Верно, верно, Михаил Михайлович! — Она кивнула на дядю Федю. — Абсолютно верно! — Стала спиной к ветру и быстро заговорила: — Ну возьмите, например, градуировку на мензурках, на термометрах — ведь дня не проходит, чтобы вы не сказали: «Смотрите на уровне глаз...»

— Ну да, — Шувалов смущенно улыбнулся, придерживая длинные волосы на голове. — Ну, чего мы стали на ветру? Ну да, — повторил он, когда пошли дальше, — иначе показания будут неправильные.

Аня опять засмеялась и всплеснула руками:

— Ну конечно, конечно! Так ведь нас, Михаил Михайлович, этому еще в техникуме учили! Или вот когда мы берем реактивы...

Аня припоминала то и это, и Шувалов не защищался, а только молча и как-то неохотно посмеивался. Да, это было неожиданно для него. Он, конечно, не шел в сравнение с директором, но все же... Будучи вежливым, деликатным человеком, он решил, что его недоверие может обижать людей. Нет, с завтрашнего же дня надо это все прекратить...

Он рассказал дома о разговоре с Зайцевой и дядей Федей, рассказал полуозабоченно, полушутливо: раз он сам понимает, что это нехорошо, значит, легко исправить. Но Софья Васильевна отнеслась к этому серьезно, как всегда относилась к делам мужа.

Они были однолетки, познакомились, еще будучи студентами, но так получилось, что к тому времени, как они поженились, Софья Васильевна уже окончила педагогический институт и преподавала в школе, а Шувалов был еще на последнем курсе химического факультета. Она уже вела дом, а он, студент, только готовился вступить в жизнь. И, может быть, от этого или оттого, что когда-то, после смерти матери, она, пятнадцатилетняя, приглядывала за двумя младшими братьями, у Софьи Васильевны невольно появилось какое-то чувство ответственности за Михаила, которое, как обычно это бывает, выражается в заметном или незаметном присмотре, в советах.

Это время давно прошло, у них было двое детей, у Михаила — большая работа в лаборатории, его любили,

ценили на заводе, но для Софьи Васильевны он был как бы на положении младшего.

Она выслушала его рассказ о Зайцевой и дяде Феде и задумалась. Ровной, размеренной походкой, как между партами, она прошла по комнате.

— Знаешь что,— сказала она, щуря серые красивые глаза,— это у тебя от малодушия, от слабости...— И, оживленно радуясь пришедшей правильной мысли, она продолжала: — Почему ты вмешиваешься в чужую работу? Да только потому, что у тебя нет выдержки, нет терпения подождать, когда человек сам это сделает. И сделает хорошо.

— Все это, Сонечка, правильно, но при чем тут малодушие? — Он не понимал, зачем из безобидного в общем случае делать какие-то выводы. — Не в каждую же работу я вмешиваюсь. Ну, в домашнюю, например.

Он хотел перевести разговор на шутку: не только она, а даже маленькая Лиза знала, что в домашних делах он беспомощен — ни шарфа ребенку завязать, ни на стол собрать... Софья Васильевна давно примирилась с этим и, если отлучалась из дому, оставляла в передней подробную инструкцию.

— Это другое дело! — сказала она, не принимая шутку. — Я говорю о работе тебе близкой, о лабораторной... А если о том, как ты вмешиваешься в работу совсем тебе чужую, то, пожалуйста, вот возьми недавние бочки с этим... с алебастром или, помнишь, зимой дверь в театре...

Тут он уж рассердился. Она заметила это по тому, что он перестал улыбаться и в глазах появился какой-то сухой блеск, точно он смотрел на что-то жаркое.

— Слушай, что общего? — негромко, смотря в сторону, спросил он. — Ты соображаешь?

Он припомнил, как это было, и несправедливость ее слов задела его еще больше. Да, он вмешался, но разве от нетерпения или недоверия? Или от этой самой слабости воли? Не надо быть химиком, чтобы знать, что под дождем алебастр схватится, пропадет. Конечно, проще всего пройти мимо: двор чужой, алебастр чужой, а он просто прохожий... Но он нашел кладовщика-растяпу с пустыми, мутными глазами и объяснил ему, что бочки надо перекатить в помещение или закрыть брезентом. Это было сделано, но он недоволен собой — другой бы на его месте распалился, накричал бы на кладовщика.

А он перед кладовщиком со своим дурацким характером деликатничал, был как проситель: «Закройте, пожалуйста, будьте любезны!» Что может быть хуже равнодушного труда, всяких там «авось-небось сойдет»! Нет, он мямлил перед этим типом, а должен был требовать...

А дверь! Сама же Софья Васильевна возмущалась, почему почти во всех театрах публику после спектакля выпускают не во все двери, а в одну, да еще с запертой одной створкой... Конечно, можно подождать, протиснуться, когда придет твой черед, и в эту щель и спокойно идти домой. Тут он вел себя значительно лучше — пристукнул кулаком по столу... Да, негромко, но пристукнул. Во всяком случае, толстый администратор с зеленым перстнем на безымянном пальце вскочил и побежал сам открывать вторую дверь.

2

И все же этот разговор с женой имел для него значение.

Он уже меньше вмешивался в работу своих сотрудников, однако это давалось ему с трудом. И, когда через два года его пригласили на станцию водной стерилизации и хлорирования, он все же нет-нет да и звонил в три часа ночи дежурному дозировщику: правильно ли поступает хлор? Ему так и казалось — дозировщик спит и вода идет без хлора. «Нет, если в меру, то это не мнительность, не недоверие, — убеждал он себя, — а правильное дело! Так и нужно относиться к работе».

С этим было, пожалуй, ясно, но в том памятном разговоре с женой было сказано о малодушии. Сказано совершенно не к месту, ни к чему, и он опроверг это по всем пунктам. Но все же возникли другие мысли, над которыми он позже стал раздумывать.

...Ничего утешительного не было тут. Как, например, не любил он, пока был в заводской лаборатории, иметь дело с растворами, которые при нагревании могли воспламениться! Делал, конечно, сам, не доверял никому. И какие предосторожности предпринимал!.. Ни разу не загорелось, не взорвалось, а он все боялся. А как просто это делал в свою смену Акимов! Шутя, позевывая, будто это чай или газированная вода. Да что там лаборатория! Взять, к примеру, обыкновенный штеп-

сель... Починить может, но вилку вставить — дрожь в руках: вдруг что-то не так и брызнет искра замыкания... Он как-то прочел о микробиологе, который сам привил себе чуму. Что из того, что бацилла была ослаблена... Нет, он бы не решился. И, может быть, поэтому он уважал, почитал сильных людей.

...Благословенны беседы отца за столом — первое окно в мир. Тут Лиза услышала о Николае Островском, о Павлове, о Седове. Во время войны отец показал ей газетный снимок: под охраной двух каких-то серых, скрюченных от холода мерзавцев бесстрашно шла худенькая девушка, шла босиком по снегу... И среди любимых имен у Лизы прибавилось еще одно: Зоя Космодемьянская.

Софья Васильевна поощряла это: детей надо воспитывать на больших примерах. Она нередко повторяла слова Петра Великого: «Детям следует дать образование большее, чем ты сам имеешь». Но толковала по-своему: не только образование. Да, она все-таки считала, что Михаил в жизни был излишне робок. Она любила мужа, и, может, от требовательности, которую вызывает любовь у таких женщин, как Софья Васильевна, она хотела найти в Михаиле что-то более жизнестойкое, крепкое, — сила в человеке всегда привлекательна. Возможно, это желание осталось от первого года их супружества — она тогда уже работала в школе, вела дом, а он только кончал университет, ходил в младших...

3

И однажды этот младший удивил. Случилось не такое большое, но все же по-своему мужественное.

...Шуваловы жили в большом трехкорпусном доме и, конечно, не знали всех его обитателей. Но в сорок первом году, во время налетов немецкой авиации, общая опасность невольно сблизила людей.

На одном из дежурств рядом с Михаилом Михайловичем оказалась незнакомая девушка — она заменила кого-то. Они сидели у полукруглого слухового окна на чердаке, которое, может быть впервые за время существования, оправдывало свое древнее название: действительно, через это окно они и прислушивались к гулу приближающихся самолетов. В серо-пепельном и тре-

возном свете Михаил Михайлович плохо различал товарища по дежурству — только черные блестящие глаза на смуглом лице.

От нечего делать они разговорились. Анюта жила в третьем корпусе, была на втором курсе биологического факультета, занималась спортом — плавала, бегала и держала какое-то первенство по волейболу. Ну что мог рассказать о себе Михаил Михайлович какой-то девице чуть не на двадцать лет моложе его! Ну, научный работник, кабинетный житель, женат, двое детей... Да, они живут в первом корпусе, окнами на сквер... Нет, спортом не занимается — некогда. Так, при случае, на даче или в доме отдыха, играет в волейбол.

Анюта напустилась на него: как это некогда заниматься спортом! Ведь спорт дает тонус всей жизни, ведь он...

И она заговорила убежденно, наставительно, чувствуя, что слушатель ее дитя в этом вопросе. Шувалов равнодушно внимал: все это он читал, слышал по радио не раз. А «тонус» ему просто не понравился.

— А зато я грибы прекрасно собираю! — отшутился он. — Ну просто поразительно!

В это время начали хлопать зенитки. Сухие, быстрые и мелкие разрывы то там, то здесь замигали в вечернем небе. Неизвестно было, откуда летит самолет, а может быть, много их и со всех сторон. Справа, в соседнем квартале, что-то затрещало, и красивые, нарядные огоньки трассирующих пуль непостижимо медленно стали косо подниматься с темного и узкого, как башня, дома. Где-то за спиной Шувалова и Анюты ударил близкий разрыв бомбы, и Михаил Михайлович почувствовал, как их чердак и все девять этажей под ним плавно качнулись вперед. Так и казалось: еще немного нажать, вот просто руками подтолкнуть — и дом плашмя, доской, упадет... Но взрывная волна отпустила, и чердак медленно, почти незаметно, вернулся на место.

Раздался гулкий стук, словно мальчишки бросили на крышу камень, и нос, смуглая щека Анюты осветились резким, невероятным светом.

Толкая друг друга, роняя клещи, просыпая песок, они выкарабкались через слуховое окно на крышу и побежали к «зажигалке». Ослепительная, кипящая белым сухим огнем, она лежала на краю крыши у водостока. Бомба была одна, а их было двое и с разными намере-

ниями: Анюта хотела клещами сбросить «зажигалку» вниз, во двор, а Шувалов — засыпать песком. И то и другое было хорошо, по правилам, но вмешалась шуваловская осторожность: неизвестно еще, куда упадет бомба, если сбросить ее во двор,— хорошо, если на асфальт, а вдруг там люди, дерево... И вообще лучше, когда сам, когда на глазах это будет прикончено.

— Подождите! Подождите! — выкрикнул он.— Вот я сейчас!

И он засыпал «зажигалку» песком. Злой белый свет, как живой, тотчас прорвался сквозь песок, но Шувалов, встряхивая спустившимися на лоб волосами, снова и гуще начал сыпать на бомбу. Вокруг сразу потемнело. Она, потухшая, оказалась маленькой, паршивой, и Анюта, легко подхватив ее клещами, с пренебрежением сбросила с крыши. Но чуть не упала через край — клещи были не легонькие.

— Тише! Что вы! — Шувалов своей маленькой рукой порывисто схватил ее за локоть.— Вы видите, какое тут дурацкое ограждение.

— Ничего...

— Назад! — скомандовал он, не выпуская локтя.— Тоже мне... тонус!

Сейчас, когда после ослепительно яркого глаза привыкли к пепельно-серому свету вокруг, он разглядел Анюту: рослая, стройная и, пожалуй, красивая со своим смуглым румянцем во всю щеку.

Остальное время дежурства прошло спокойно, и они проговорили до отбоя о том о сем. Странное дело — у Анюты уже не было наставительного тона, когда она заговаривала о своем спорте. Улыбаясь, вспомнила, как он с силой оттащил ее от края крыши... Наступил рассвет, характерный для того времени: первыми осветились не кресты колоколен или верхние кромки высоких домов, а серебристые туловища привязанных аэростатов, высоко стоящих над Москвой. Из-за этих небесных сторожей рассвет для города был как бы более ранний, чем всегда.

Приятно вылезти на крышу после отбоя! Посветлевшее, с проступившей уже голубизной небо; свежий, не пахнувший еще бензиновым перегаром ветер; милый домашний шум — шарканье первых дворницких метел.. И радость, что город цел, что отогнали налетчиков; и эту дрянь сбросили с крыши — не прозевали, сделали как



надо... Шувалов, откинув назад волосы, с удовольствием потянулся...

— Вы посмотрите, что делается! — Анюта озабоченно показала на свой локоть: ниже кромки короткого рукава виднелись два голубых пятнышка. — Однако у вас и руки! Крепкие!

— Простите, ради бога, — в голосе его было искреннее сожаление, — но я боялся, что вы...

— Ну что вы, Михаил Михайлович! — Она дотронулась до его руки и ласково взглянула на него. — За это не извиняются. Наоборот! Мне даже понравилось. Сердито так, как маленькую, оттащили...

...Вечером дома, пока он рассказывал об этом, на лице Софьи Васильевны было какое-то равнодушно-напряженное выражение.

— Ты молодец! — просто сказала она.

— Знаешь, Сонечка, — сказал он, — даже небольшие возвышенности принято измерять от уровня моря. А если измерять от дна оврага, я уж не говорю — от пропасти, то любой бугорок может показаться Казбеком.

Михаил уже два дня ходил в военной форме — поскрипывали ремни, пахло кожей, новым сукном. Всеволод, который в эти дни был в Москве, говорил шурина:

— Все хорошо, сапоги ты только не умеешь носить!

Действительно, с непривычки было жарко и тесно икрам, и от этого походка Шувалова в чем-то изменилась.

— И ремень! — громко добавлял дядя Сева. — Надо, чтобы только два пальца можно было просунуть. А ну-ка, покажись! — Своими большими, сильными руками он вертел его. — А у тебя, милый, и все пять войдут! Нет, не гвардия! Не орел! Но ты старайся...

Как хорошо, что Всеволод был в эти дни! От его громкого, веселого голоса все шло как-то легче, незаметнее...

Поезд уходил вечером. К раннему обеду Михаил пришел со свертками. Об этом Софья Васильевна узнала позже, так как свертки он запрятал в угол передней, под вешалку. За обедом говорили о войне, об оставленной работе; иногда Михаил, вдруг вспомнив, шел к себе, брал что-нибудь то из шкафа, то из ящиков стола и клал в чемодан. Дети сидели за обедом на необычных местах — дяде Севе пришлось отвести чуть не всю сторону стола.

Пятилетний Витя, сидевший для высоты на подложенной подушке, да и Лиза, уже вытянувшаяся к своим двенадцати годам, были заняты не отъезжающим отцом, а дядей Севой, который вел разговор, балагурил. Витя, не понимая, как бы из вежливости, тоже улыбался. Его более занимал близкий к нему большой палец на правой дяди Севиной руке, державшей ложку: он был громадный и какой-то самостоятельный, как первый сук на дереве. Заметив его взгляд, Всеволод Васильевич тотчас показал Вите, как легко и просто можно оторвать этот палец, подбросить его кверху и снова приставить к руке. Это было поразительно! Витя, оставив ложку, стал дергать свой пальчик, который только назывался «большим», а был крошечным. Мать, с укором взглянув на брата, остановила сына: это можно после обеда...

— Соня! Надо еще вот соль положить, — сказал Михаил Михайлович, взглянув на солонку. — Почему-то соль в дорогу всегда забывается.

— Это смотря как собирать чемодан! — отозвался Всеволод Васильевич, отставляя тарелку. — Ты, я вот вижу, собираешь по дамскому способу. А есть другой. Мужчины, которые понаторели на командировках, за день, за два составляют подробный список вещей. Тут записывается все, до мелочей, — вплоть до зубной щетки и карандаша. За час до отъезда все это спокойно складывается в чемодан. Вот и все... Больше того — в следующую поездку нового списка составлять не нужно, надо посмотреть в старый... Ну а дамский способ: перед отъездом открыть чемодан и бросать в него все, что попадает в комнату на глаза. Много забывается, а то и лишнее берется. В сороковом году тетя Клава приехала на съезд невропатологов — открыла чемодан, а там под бельем оказался гипсовый бюстик Тургенева. Мы все, конечно, любим его, но тащить с собой полкило гипса, — это уж, понимаешь, чересчур!

— Ну, ты всегда был женоненавистником! — сказала сестра.

— Почему ненавистником? Я просто стараюсь их понять. Вот, по военному времени и по своему холостому положению, стою в очереди у булочной. Подходит женщина, за ней вторая... Они незнакомы, молчат, но через пять минут одна другой начинают рассказывать свою биографию! Да подробно! Да с удовольствием! Ты объясни — зачем?

Софья Васильевна ответила, что она бы лично этого не сделала, но вообще женщины более общительны, зато они и более добросовестны. Заговорили о женском и мужском труде.

— Добросовестность бывает трогательна, — Шувалов пододвинул к себе котлеты. — Помню, покупаю галстук, и продавщица заботливо так предупреждает: «Хранить галстук надо в сухом и прохладном месте».

— Это прелестно! — громко сказал дядя Сева. — Но это пустяки в сравнении с тем, что я встретил во время нэпа в Симферополе. Только что было крымское землетрясение, и вот на рынке какая-то небритая личность продавала... порошок от землетрясения. Так, белый, вроде аспирина. Надо было посыпать вокруг себя — и все...

Обед прошел легко, весело, и Софья Васильевна была рада этому: пусть Михаил так и уедет — последнее воспоминание всегда живуче.

Но не весь день был такой. После затянувшегося обеда Витю уложили спать; прилег и Всеволод, свесив большие ноги за край дивана; Лиза пошла на почту купить для отца конвертов на дорогу.

— Ну, вот и хорошо,— сказал Михаил.— Все в отсутствии. Пойдем-ка ко мне.

Он принес из передней в свой кабинет припрятанные свертки и развернул их. Книга в синем переплете с серебряной надписью «Седов», отрез темно-синей шелковой материи и маленькие желтые ботинки.

— Понимаешь, тут без меня будут дни рождения, и ребятам важно, чтобы и от отца тоже... Ну, а это тебе,— он показал на шелк,— к тридцатому сентября.

Только Софья Васильевна, зная отвращение мужа к покупкам, к магазинной толкотне, могла оценить это. А тут было даже большее: по военному времени следовало еще раздобыть ордера, не забыть промтоварные «единички»... Блестя глазами, она обняла его и поцеловала, приговаривая: «Смотри, не забыл! Не забыл!» Чтобы сделать ему приятное, все рассмотрела отдельно, а материю даже приложила к себе, похвалила. Ботинки для Вити ей показались велики, но она тотчас успокоила Михаила: это не страшно — нога вырастет.

— Погоди! Зачем ей вырастать? — Он остановил ее.— То есть она должна вырасти, но ты меня не поняла... Это к Витиному дню рождения, к маю. Чуть не год еще! Тогда дашь ему — и будет как раз по ноге.

И это было трогательно: предусмотрел... Но она поняла и другое: сейчас август, значит, Михаила не будет и в мае. Как долго!.. Слезы подступили к глазам, и она, будто рассматривая подкладку на желтеньких ботинках, склонилась над ними. Он понял все, но ничего не сказал. С минуту они стояли молча друг против друга, оба одного роста, но Софья Васильевна, как женщина, казалась выше.

— Ничего, Сонечка, ничего! — Он привлек ее к себе, и ботинок в ее руках чуть уперся ему в грудь.— Ехать надо.— Он поцеловал ее в склоненную голову.— Должен ехать... Все ведь так!.. Ну, а будет все хорошо. Война теперь уже легче — фашистов погнали. Ты ботинки спрячь,— может, я и сам Вите их подарю.

...Милый! Успокаивал... Нет, дарила сыну она — еще в марте пришло извещение...

Потом был вокзал, вагоны, неверный, раскачиваю-

шийся вокзальный свет. И последним видением — Михаил в мешковатой для него военной форме, стоящий на площадке, и Сева с протянутой бутылкой нарзана, шагающий за тронувшимся уже вагоном.

И, когда вернулась домой, первым чувством было: дети остались одни, без отца...

Так и было. Дети подросли, а от Михаила только одно: «Без вести»...

5

У Лизы об отце были короткие, разрозненные воспоминания детства. Память приносила то одно, то другое: елка в Доме союзов; большой, необыкновенный гриб, найденный вместе; отец за микроскопом, а она подсовывает ему школьную задачку; или в отсутствие мамы они что-то готовят на кухне...

Она видела отцов своих подруг. У Светланы был замкнутый, неразговорчивый и, наверное, решительный, строгий отец — Светлана его побаивалась. У Вари — шумный, веселый, все спорилось у него в руках: чинил дома электрические плитки, лихо красил забор на даче, ходил бойко, нараспашку.

У нее же был совсем другой отец. Все, что порознь Лиза помнила о нем, сливалось в общее чувство: добрый и неумелый. Со слов матери она знала, что отца ценили на работе, но в малом было другое: на елке в Доме союзов отец подарок для Лизы прозевал; маляры и монтеры ему грубили; плиток и замков не чинил. Нет, на Вариного папу он совсем не был похож. А как они однажды стряпали с ним! Мама ушла с Витей в Сокольники на целый день и оставила инструкцию об обеде. И все же был чад от пригоревших макарон и сквозь чад мелкое — словно грызут семечки — потрескивание эмали в сухой, накаленной кастрюле. «Эх, что-то мы ничего не умеем!» — сказала Лиза. Она взяла вину на себя: ей было тогда одиннадцать лет, пора бы уже уметь. Но отец не принял ее великодушия. «Это все, Лизок, оттого, — сказал он, — что на настоящей военной службе я не был, всего-навсего призывался на переподготовку. А настоящая, говорят, для житейских дел просто университет. Уж если, например, солдат пуговицу пришьет — волк не отгрызет...»

И все же он, конечно, был лучше тех, с плитками, с заборами, с пуговицами. Он был добрый, она любила его, и, главное, он был не чей-то, а ее.

И не чей-то, а ее уехал. Походил с провожающими по платформе, поулыбался, как-то незаметно попрощался — и уже в вагоне на площадке... Поезд трогается, она и мама идут следом, догоняет дядя Сева с протянутой темной бутылкой; киоск, фонарь, косой свет, на миг его взгляд поверх очков — опять косой свет, мелькание вагонов. И вот уже красный глазок на последнем... Все...

Прошло две недели, и он будто снова явился. Наступил Лизин день рождения, и мама положила ей на стол синюю книгу — от отца. Это было удивительно!словно сам поздравил, обнял, поцеловал в волосы, как всегда...

О Седове она уже знала — отец часто рассказывал — и тотчас стала рассматривать картинки. Ах, вот он какой! На снимке со старой фотографии стоял человек в короткой шубе с поднятым воротником. А вот его матросы — Линник и Пустошный. Тоже герои... А это уже не снимок, а рисунок художника: человек лежит на санях навзничь, и двое людей сквозь пургу на лямках волокут сани вперед, к полюсу. Курс — норд!

Даже по картинкам было так, как рассказывал отец. Но не Седов, не книга, а вот то, что не забыл, оставил, будто сам сейчас подарил!..

Часто бывает с домашними книгами — положена, переложена, смахивается с нее пыль, а так и остается непрочитанной. Прочитала ее Лиза только этой весной, чуть не пять лет спустя, и вдруг заговорила о полярнике и дома и в школе... Мальчикам бы эту книгу, но и девочки в шестнадцать-семнадцать лет ищут, ждут смелых, необыкновенных дел... И Лиза стала налево-направо давать книгу подругам, каждый раз прибавляя: «Этот папа мне подарил!»

Да, спустя столько лет он опять напомнил о себе. Не было ничего общего между отцом и Седовым, но то, что он любил этого неустрашимого человека, как и она теперь полюбила его, сближало ее с отцом и как бы делало ее совсем взрослой: она думает так же, как и отец...

Все подруги прочли книгу, кроме Светланы. И, может, только перед Светланой, длинноногой девочкой в

очках, Лиза впервые вслух, от всего сердца, высказала свое отношение к прочитанному. Свое и отцовское вместе. Она запомнила этот день.

Было воскресенье. Над парком культуры стояли белые круглые облака, и узкие голубые лодочки-качели свечкой взлетали к ним. Лиза и Варя, стоя по краям лодки и попеременно упираясь ногами, раскачивали ее все выше, все круче. Иногда от хохота, от изнеможения Лиза пропускала свой черед упереться и качнуть. На Светлану нельзя было смотреть без смеха: она сидела в середине лодки согнувшись, судорожно держась за голубые борта, и каждый раз, как лодка становилась вертикально, пронзительно взвизгивала и закрывала глаза.

— Слушай, Светланка! Нет, слу... — Лиза давилась смехом. — Ну зачем ты глаза закрываешь? Ви... ви... визжи лучше с открытыми!

Потом они играли в волейбол, купались.

В парке стояло великое множество столбов с указателями и объявлениями, и даже было как-то досадно читать их: всего за день не увидишь, везде не побываешь. Лиза вдруг остановилась перед одной афишкой — в каком-то тут зале сегодня будет лекция о Седове.

— Седов! — проговорила она, не двигаясь.

— Ну и что? — простодушно спросила Светлана.

Лиза молчала, а Варя, которая бывала у Шуваловых дома, сказала Светлане:

— Ну как же! У нее портрет его висит над столом!

Она сказала это улыбаясь, но как о непреложном, как о том, что должно быть. Она часто спорила с Лизой, не соглашалась с ней, но в душе чувствовала, что Лиза как-то старше ее, умнее, лучше. И, если Лиза что делала, значит, так и надо делать. Вот Седов... У Лизы над столом висело три портрета: Павлов с квадратной подстриженной бородой; худощавый, в форме бригадного комиссара Островский и человек в меховой куртке. Первые два портрета и Варя бы повесила — этих двух все знают, любят, — но вот тот, в меху, с глазами, сощуренными от яркого снега... Но то Варя, а у Лизы были свои доводы.

— Почему? — опять спросила Светлана.

Лиза посмотрела на нее и промолчала — после смеха и визга как-то трудно было начать говорить об этом. Они пошли по дорожке к павильону с мороженым, вид-

невшемуся под купой деревьев. Зубчатый полотняный навес павильона трепетал под ветром и отсюда напоминал палубу парохода.

— Жалко, что начало лекции в семь часов,— сказала Лиза,— придется второй раз приходить.

Светлана, недоверчиво улыбаясь, пожала плечами, и тут Лиза бурно, быстро, блестя глазами, стала говорить о Седове. Она говорила путано — прочитанное перебивало друг друга, но можно было понять, что этот человек принадлежит к тому же неукротимому, настойчивому и благородному племени, к которому принадлежали и Павлов, и Островский, и Кошевой, и Зоя...

И, может, не разбросанные слова Лизы, а живое изображение девушек помогло им увидеть бескрайный снежный простор, бескрайнюю белую тишину, освещенную морозным солнцем, и одинокие сани с лежащим на них человеком.

— Понимаете,— Лиза разругалась и махала руками,— он уже больной, в цинге, матросы Линник и Пустошный его спрашивают, не вернуться ли обратно. А он одно твердит, одно: «Курс — норд...» Опять спрашивают: ведь его же жалеют, не довезут до полюса. А он...— Лиза заморгала глазами и отвернулась.— А он, — голос прервался, — только одно: «Курс — норд...»

Когда сели за мороженое, у всех троих были влажные глаза. Не поднимая головы, смотрели только на желтые, розовые, белые шарики у себя на блюде. Но потом это прошло. Кусочек мороженого упал Светлане за вырез платья, и она вскрикнула. Варя, покосившись на Лизу, неодобрительно посмотрела на застенчиво улыбающуюся Светлану. Но лицо у самой Лизы было уже спокойное, светлое, обыкновенное. Лиза неожиданно сказала:

— Нет, Светланка, я тебя люблю!

Домой в тот день Лиза вернулась гордой, повзрослевшей и даже высокомерной: она заступилась за своего и отцовского героя. К вечеру подумала: «Путалась что-то, можно было бы лучше...» А через несколько дней и это забылось, синяя книга утихомирилась на полке, а девочки теперь бегали в кино и обсуждали новую картину: красавицу любят трое, а она никого! Может ли так быть?

Но, когда через месяц мать сказала о Завьяловске,

Лиза увидела в этом не только поездку, а путешествие, так как была цель,— да, для них большая цель: отец...

— И я с тобой! — сказала она.— Курс — норд...

Глава третья

«ША» ЛУЧШЕ «КА». ПАВЕЛИЧЕВ

1

На следующий день Лиза распорядилась: пусть сегодня мама остается дома, занимается хозяйством, а она сама ходит в адресное бюро.

...В прохладной, со сводчатым потолком комнате Лиза увидела несколько человек, сидящих за общими и отдельными столами. Она прошла вдоль желтого барьера — к кому же обратиться? Барьер привел ее к сухощавой молодой женщине, которая подняла на нее большие темные глаза. Тут, оказывается, и можно было узнать. Женщина быстро нашла и любезно сообщила: такой Шувалов не проживает в городе. Тогда Лиза спросила о выбывших. С благосклонной улыбкой, как о чем-то общеизвестном, женщина ответила, что о выбывших бюро справок не дает.

— Ну что вы! — изумилась Лиза.— Почему же?

— Не даем.

— Но почему, раз надо?

В голосе Лизы было недовольство, и женщина кивнула на розовощекого старичка в парусиновом костюме, который сидел у окна за отдельным столом:

— Пройдите к Филиппу Степановичу.

Подняв толстый барьерный брус, Лиза прошла. Но Филипп Степанович тоже сказал, что о выбывших сведений не дают. На кончике его носа держались странные очки — из половинок стекол. Лиза таких не видела еще.

— Для этого, милая девушка, надо поднимать архивы,— наставительно сказал старичок, с уважением произнося слово «поднимать».

Лиза, разглядывая диковинные очки, видела его умные, добрые глаза. Да, добрые — почему же он отказывает?

— Так поднимите,— простодушно сказала она. И, решив, что та сухощавая женщина и этот хилый старичок могут не справиться с тяжестью, добавила: — Я могу вам помочь. Я сильная...

По комнате прошел смехок, Лиза покраснела, но тем смелее, настойчивее стала смотреть на старичка. Тот, добро улыбаясь, объяснил, что такое «поднимать архив»: все дело в труде и во времени, а ведь есть еще текущая работа...

Ах, вот как! У нее такое дело, а им некогда!.. Сжав губы, покрутив поясок на клетчатом платье, она обвела взглядом комнату: нет ли тут еще какого-нибудь начальника поглавнее? Но нет,— склонившись над столами, сидели девушки, один юноша; в углу — красивая пожилая женщина, курящая папиросу. Не зная канцелярских законоположений, Лиза все же догадалась: и эта не начальник — красавица работала за общим столом...

Лиза вдруг подсела к ближайшей от нее пухленькой белесой девушке.

— Скажите,— негромко спросила она,— есть у вас комсомольская организация?

— Ну конечно.

— А кто комсорг?

Девушка направила ее в соседнюю, небольшую комнату с длинным столом посередине. Тут Лиза нашла приземистого паренька с пышными волосами. Она рассказала ему, что ей нужно и почему. Он в раздумье подергал кончик своего острого носа.

— Хорошо, конечно, что у вас «ша», а не «ка»,— сказал он.— Пойдемте.

Он оставил ее за барьером и направился к старичку в парусиновом костюме. Между ними начался неслышный, но, видимо, немирный разговор, так как комсорг хотя и держался почтительно, но что-то упрямо твердил, ероша волосы. Он вернулся к Лизе, покрасневший, но улыбающийся,— он даже чуть подмигнул ей. Лиза поняла, что этот крепыш отвоевал ее дело у парусинового старичка.

— Вы, товарищ Шувалова, погуляйте полчаса,— сказал он уже официально, без всяких улыбок,— а мы этим займемся. Хорошо, что у вас «ша»... Катя! — окликнул он белесую девушку.— Пойдем-ка со мной в архив!

Лиза вышла на улицу, думая: почему «ша» лучше «ка»?

Было около одиннадцати часов утра. Трамваи и автобусы, развезя всех на работу, шли уже полупустые. На одном трамвайном вагоне Лиза прочла: «Ул. 1 Мая — Левый берег — Плотина».

Плотина!

Да, отца нет в городе, теперь уж она и сама это понимает, но что он был тут, был на плотине, она видела своими глазами. Но когда? Бюро может ответить. до марта сорок четвертого года или после этого марта. Если после, можно надеяться, что жив. Он не тут, не в Завьяловске, но где-то есть, можно найти...

Лиза прочла все афиши, которые были вокруг адресного бюро, потом посидела в чахлом скверике напротив. Рядом, на перекрестке, стояла круглая, стеклянная наверху будка с милиционером, который переводил светофор. Девочка, перебравшая недалеко от Лизы пыльный песок, спросила у старушки на скамейке:

— Зачем милиционера посадили в стеклянную банку?

«Им весело!» — подумала Лиза, хотя никто не улыбнулся на слова девочки.

Около сквера тоже оказались афиши. Лиза, поднявшись с лавочки, пошла их читать. По дороге попала парикмахерская с овалами дешевых зеркал у входа. Лиза посмотрела в одно из них. «Неужели в таком виде была в бюро?» Каштановая прядь спустилась чуть не на щеку, и верхняя пуговка на клетчатом платье была расстегнута. Она незаметно привела себя в порядок.

В бюро вошла с щемящим чувством: «До марта или после марта?»

Захаров — так звали комсорга — вышел к ней с каким-то бланком в руках, и Лиза, скосив глаза, стала внимательно всматриваться в этот бланк.

— Мы просмотрели выбывших, — сказал он, — за этот год, за прошлый, за позапрошлый и так далее, до сорок третьего, до немцев. Шувалова Михаила Михайловича нет. Не был...

— Ну как не был! Мы же его видели!

И она повторила комсоргу то, что говорила раньше. Говоря, она теперь разглядела бланк в его руках, — оказывается, это была та бумажка, на которой Захаров

записал с ее слов сведения об отце: имя, отчество, год рождения... А она-то думала!..

— Я понимаю,— сказал Захаров,— но вот так... Мы с Катей на совесть искали.

У Лизы подступили слезы. Она так надеялась...

— Чего же вы говорили,— Лиза смотрела в пол, голос срывался,— чего же вы говорили, что хорошо, что «ша», а не «ка»?

Захаров не понял, вытянул губы в трубочку, подержал кончик носа.

— Ах, это! — Он улыбнулся про себя и, подойдя, тихо обнял Лизу.— Так это просто о том, что легче найти фамилию на «ша», чем на «ка». Ведь на «ка» столько фамилий, ужас! А на «ша» совсем мало...

2

Выйдя на улицу, Лиза постояла на тротуаре. Куда же теперь? «Так же, как вчера с мамой...» Обидно было и то, что дома она как бы обещала принести сведения. Возвращаться домой не хотелось, но и идти было некуда...

Показался трамвай № 6 с надписью: «Ул. 1 Мая — Левый берег — Плотина». Лиза, помедлив, пошла к остановке. Она толком не знала зачем,— не стоит же он там, не ждет ее! Но у плотины было несомненное — там его видели.

Трамвай шел долго, особенно по последней длинной улице, выходящей к берегу. Были видны строящиеся и недавно построенные дома — она слышала, что во время войны гитлеровцы, убегая, взорвали все крупные здания. До сих пор то там, то здесь виднелись пустые коробки домов, затянутые заборами. «При нем заборов, наверное, еще не было... Впрочем, после сегодняшнего какое же «при нем»! Лиза отвернулась от трамвайного окна и стала думать о том, что она напишет Варе. Это ведь Варя первая сказала: «Можно найти». А тут вот и следа нет...

Трамвай приехал на круг и, пробежав половину его, остановился. Все пассажиры вышли, разбрелись, вагон постоял, подумал и, скрежеща на закругленных рельсах, ушел обратно. Лиза осталась одна в каком-то полугороде, полуполе. Улица и дома кончились, а поле еще не начиналось. Под жарким солнцем лежала выгоревшая,

местами вытоптанная трава, на которой в разных местах виднелись крутые мотки ржавой проволоки, неповоротливые, грубо сколоченные катушки от кабеля, доски, бревна, рваные куски железобетона. Над всем этим в воздухе стоял какой-то неумолчный глухой шум.

Но все же и тут была жизнь. Когда Лиза прошла немного вперед, за высокой и тяжелой кабельной катушкой объявился голубенький киоск с газированной водой. Белесенькая, Лизиних лет девушка, истомленная жарой и духотой в своем тесном фанерном домике, налила ей воды и сказала:

— Шум слышите? Вот на него и идите. Не заблудитесь.

Лиза прошла с полкилометра и вдруг в просвете между деревьями увидела необычайное. Широкая река и белая, высокая, зубчатая дуга, преграждающая воду. Она напомнила Лизе полукруглый гребень, который девочки носят в волосах, но гигантский — от берега до берега. Не волосы, а воду прочесывал этот гребень — белые, в пене и брызгах, каскады, пробиваясь сквозь зубья, падали в реку. У левых, ближе к тому берегу, каскадов держалось в воздухе что-то многоцветное, мерцающее на солнце, словно зарождение радуги.

Она пошла дальше. Домики и сады на берегу скрыли от нее плотину, и когда она, пройдя эти домики, вышла на спускающуюся к берегу дорогу, по которой ехали грузовики и шел народ, плотины — могучей зубчатой дуги — уже не было. Было просто продолжение дороги, идущей из города и перешагивающей, как мост, реку.

Она вместе с другими пешеходами двинулась по этой дороге, решив, что дойдет до того берега и вернется обратно.

Лиза шла по проезжей части плотины — по ребру гребня, настолько широкому, что могли разъехаться два грузовика, да еще и место для пешеходов оставалось. То там, то здесь велись еще какие-то работы: женщины в брезентовых штанах и куртках укладывали металлические прутья с загнутыми концами; короткотелые грузовики, наклонив железный кузов, сваливали жидкий бетон; свистели краны...

Лиза вдруг увидела ограду на плотине и тихо к ней подошла... Да, вот она, чугунная решетка в виде перекрещенных колосьев. Но где именно был отец? Ограда тянулась бесконечно, до того берега. Она пошла вдоль

нее. Колосья шли за колосьями, одинаковые, неотличимые. Она остановилась и посмотрела за ограду. Далеко внизу, в шумной, наполненной брызгами пропасти, неслась кипящая белая пена. Каскады падающей воды, которые она видела с берега, были у нее под ногами невидимы, и только белая пена, разделенная на равные части покойной, темной водой, показывала, где они находятся.

«Куда же он тут мог спускаться? — подумала она. — В воду? Но там была какая-то черная комната...»

У нее потемнело в глазах, и она отвернулась. Постояла и пошла обратно. Чугунные колосья на решетке опять перекрещивались, неотличимые, один за одним, без конца — холодные и пустые.

Пересекая реку, шли крутые белые облака, а над ними в вышине недвижно стояли мелкие, перистые. Лиза представила эти перистые как поднявшиеся в бездонный верх нижние большие облака и почувствовала страшную, удивительную — отчего даже чуть кружилась голова — высоту голубого неба. Она посмотрела на землю. На гребне берега пламенел на солнце строящийся дом. Черная высокая стрела крана мерно и легко подавала тяжелые кубы кирпича. Лиза удивилась, что трос, на котором висел оранжевый куб, был тонок, почти невидим, — как он не оборвется от такой тяжести!

Пока она шла по плотине, все следила за краном. Он расторопно разносил свои кубы по всем уголкам стройки. Казалось, маленькая головка черной стрелы сверху заглядывает внутрь здания и видит, где и кому требуется кирпич.

Лиза не заметила, как прошла плотину. Дорога по плотине неуволимо перешла в шоссе.

У автобусной остановки стояла очередь, и это напомнило Лизе, что надо ехать обратно. Ехать обратно, ничего не узнав в бюро и увидев только чугунные колосья, о которых и без этого могло быть известно, что они существуют...

Около Лизы раздался смех, и она увидела, что все люди, стоящие в автобусной очереди, улыбаясь смотрят наверх. Там — черная, знакомая ей стрела крана, которая подавала большие и тяжелые кубы кирпича, сейчас несла на тросе голубой пузатый чайник, удобно прикрепленный, — надо было только набросить полукруглую ручку на толстый крюк блока. Из чайника выбивался па-

рок, и вид у него был такой мирный и обыкновенный, будто он не в первый раз совершает это путешествие.

— Ну, это не дело! — кто-то хмуро сказал за спиной Лизы. — Кран поднимает три тонны, а тут такая чепуха...

— Так там же, наверху, люди, надо им чаю попить. Сейчас же обеденный перерыв!

— А электроэнергия? — отозвался тот же наставительный голос.

Старик в белом картузе, стоявший перед Лизой, сказал, усмехаясь, ни на кого не глядя:

— Комики! Экономы наизнанку! Не люди же для механизмов, а механизмы для людей!

Чайник, перевалив через каменную кладку и сейчас весело поворачивая свои голубые бока, смело, но осмотрительно спускался на тонком тросе в чьи-то невидимые с земли руки.

Мимо Лизы промелькнуло что-то бело-бурое, вынеслось на мостовую, остановилось, и Лиза увидела человека в коричневой куртке и белых брюках, который, широко расставив ноги, впился одним глазом в какой-то серебристый сучковатый шар. Шар этот подергался вправо, влево и вот опустился, открыв молодое, чернобровое и крайне разочарованное лицо.

— Товарищ Павеличев! — невольно крикнула Лиза, сразу узнав вагонного попутчика.

Она почувствовала, что люди из автобусной очереди обернулись. Она смутилась и, чтобы уйти от смущения, побежала на мостовую. Павеличев подходил к ней, нахмурив брови, держа в опущенной руке свой сучковатый матово-серебристый шар.

— Прозевал! — сказал он, не здороваясь, все еще переживая неудачу. — Придется завтра покараулить. Хороший был бы кадр для оживления... Ну, как ваши успехи? Здравствуйте!

Лиза начала рассказывать о вчерашнем посещении отдела кадров, но тут же заметила, что глаза Павеличева за чем-то следят. Она посмотрела в ту же сторону и увидела, что кран теперь поднимает какое-то черное пальтецо. Было непонятно, для кого это, ведь стоял жаркий, с открытым солнцем полдень. Над ухом у Лизы стало что-то жужжать, и она обернулась. Павеличев уже замер в боевой позе оператора, расставив ноги, впившись глазом в свой шар, ничего и никого не слыша. Лиза рас-

смотрела аппарат — это был, пожалуй, не шар, а какой-то, наверно, тяжелый, судя по металлу, клубок из окуляров, объективов и ручек, внутри которого что-то, потрескивая, жужжало.

— Это, наверно, что-нибудь к чаю передают! — Он не отрывался от аппарата, и потому видна была только половина его лица, половина улыбки.

И в самом деле, на высоте пятого этажа пальтецо на легком ветерке чуть повернулось, и показался желтый батон хлеба, криво засунутый в карман.

— Здорово, что и небо в кадр попало! — блестя глазами, говорил Павеличев, когда они отошли от дома. — Вы смотрите, какое оно! Наверное, не понимаете? Облака то на двух планах — внизу и наверху. Богатая штука! — похлопал он по футляру, висящему на ремне, куда скрылся сучковатый аппарат. — Ну, а дальше что? — спросил он Лизу. — На плотине вы были?

Лиза рассказала, как она сейчас была в адресном бюро, как надеялась.

— А на плотине я места не нашла, — добавила Лиза, понимая, о чем он спрашивал. — Там все одинаковое. Да если бы и нашла, то все равно...

— Как это место не найти, если кадр известен! — не слушая дальше, воскликнул Павеличев, останавливаясь и поднимая черные брови. Коричневая куртка его отливала на солнце красноватым, бросая теплый свет на загорелое и сейчас удивленное лицо. — Ведь не дух святой снимал, а оператор. А оператор всегда выбирает такую точку. Идемте-ка! Вернемся...

Лизе было приятно, что он так близко принял ее неудачу. Ей даже показалось, что найти место, где находился отец, очень важно для дальнейшего.

3

По дороге к плотине Павеличев рассказал, что на открытие шлюза он, как опасался в вагоне, не опоздал. Шлюз уже готов, но еще идут последние испытания, и дня через два, если ничего не изменится, будет торжественное открытие. А пока что Павеличев снимает по городу, бывает и там и здесь — это тоже войдет в фильм. Он рассказывал просто, как о чем-то будничном, и Лиза порадовалась: «Не хвалится. А ведь дело-то у него какое!»

Лизе никто еще не поручал важного дела — комсомольская работа по школе, конечно, в счет идти не могла. А тут вот человек на три-четыре года старше ее, и уже такое поручение! Это же на весь свет! Завьяловскую гидростанцию и шлюз все знают, за ними следят, и вот на это посылается Павеличев...

Подойдя к плотине, Павеличев не пошел на нее, а, поглядывая в ее сторону, уверенно взял влево по берегу. У нагроможденных кусков рваного бетона он остановился. Глядя на плотину, прищурился, потом, будто смотря во что-то, поднес две ладони к глазам.

— Пошли! — скомандовал он и, обняв одной рукой тяжелый футляр, висящий на ремне, скользя по выгоревшей траве, стал спускаться к воде.

Его уверенность передалась и Лизе. Она оправила свое темно-синее в белую клетку платье и, придерживая его у колен, тотчас стала спускаться следом, даже заспешила, будто Павеличев ей сейчас покажет что-то очень важное. Черные туфли на резиновой подошве при спуске скользили по траве, и она чуть даже присела, чтобы не упасть. «Мог бы дать руку», — подумала она. И как только подумала, Павеличев обернулся:

— Держитесь-ка! — И, взяв Лизину несмело протянутую руку, поднял ее, как обычно делают при спуске, на уровень лица, точно собирался танцевать кадрили. Пятясь боком, он взглянул на девушку, порозовевшую, смотрящую себе под ноги. — Слушайте, а как вас зовут? Ехали вместе, а я вот не помню...

— Лиза, — сказала она, взглянув на него. — А вас? — спросила она, опять смотря под ноги и обходя блестящую, как лыжня, полоску на траве, по которой только что съехала нога Павеличева.

— Меня легко запомнить: Павел. Павел Павеличев... Ну, сразу! Бегом!

Крутизна кончилась, и ноги, которые приходилось сдерживать, теперь сами побежали и вынесли на прибрежный песок. Павеличев выпустил руку Лизы и, не оборачиваясь, словно был он тут один, молча и медленно пошел к плотине. По дороге он опять, будто смотря во что-то, прикладывал две ладони к глазам; отступал вправо — коричневая куртка его мелькала среди кустарника, влево — к самой воде.

Лиза шла в отдалении, шла тихо, словно производилась какой-то опыт и она боялась помешать. На заднем

кармане белых брюк Павеличева, заметила она, пуговка висела на одной ниточке, и под мышкой в куртке было чуть распорото по шву. Так хотелось — просто руки сами просились — это пришить и зашить, но она понимала, что для деловых людей, приехавших из Москвы снимать Завьяловский шлюз, это пустяки, лишнее...

— Ну, пожалуйста! — окликнул ее Павел. — Вот!

Лиза быстро подошла.

— Примерно отсюда оператор снимал, — сказал он, поднося к ее глазам вынутый уже из футляра аппарат. — Смотрите сюда!..

Она плотно прижала глаз к серьезному, с острым блеском стеклу и вдруг с поразительной ясностью увидела то, что она видела весной на экране. Ну все то — два звена решетки из чугунных колосьев, за ней бетонный четырехгранный выступ, который, как бы пронизывая дорогу и решетку, шел вниз, к воде, напоминая обычный мостовой бык. Сразу под решеткой и дорогой был виден в брызгах и пене водослив. Вот водослива тогда там не было — отец спускался в какую-то комнату, а не в воду.

Павеличев точно угадал ее недоумение.

— Смотрите правее, между двумя бычками! — сказал он, стараясь плотно, недвижно держать аппарат.

«Так они называются не быками, а бычками! — подумала Лиза, смотря на бетонные выступы. — Это, наверное, потому, что они поменьше мостовых и их много».

Но что же там, направо? Да, тут нет воды — бетонная стена между двумя бычками, не загороженная водосливом, отвесно опускается от решетки к реке. Вот тут, наверное, был подвал, черная комната. Но где же сейчас она?

В стекле косо пронеслось небо, мелькнула вода, и все пропало. Павеличев, полагая, что Лиза уже насмотрелась, опустил аппарат. Лиза же подумала: «Устал держать свою тяжелую штуку», — и не решилась попросить снова навести ее на плотину.

— Место это то, но подвала, куда папа спускался, никакого нет! — медленно сказала она, смотря на освещенную боковым светом плотину. Она искала глазами то место, которое она видела через стекло, и не находила его: и звенья ограды и бычки однообразно повторялись. — Я к тому говорю, — продолжала она, — что если нет этого подвала, значит, тут что-то переделали.

Значит, оператор снимал не недавно. Да даже не это! Ведь про папу никто не знает... Ну, пошли! — добавила она, поправляя поясok на платье. — Я вас, наверное, задержала?

— Нет, ничего. Подвала, конечно, нет. Но это другое...

Павел только сейчас понял, что у них разное было: она шла к следам отца, а он — просто так, из пустого молодечества, искал операторскую точку. Он и нашел ее, удивил народ, а Лизе надо было больше...

Они поднялись по берегу. Жаркий воздух, который не чувствовался у реки, сейчас пахнул им в лицо. Облака, и верхние и нижние, разошлись, оголив солнце, желтоватую от зноя голубизну неба. От скрюченных тавровых балок шел жар, и трава рядом с балками казалась еще более сухой и темной, чем вокруг.

— Мы вот что сделаем, — сказал Павеличев, когда они подошли к автобусной остановке.

Широкие брови его были озабоченно сведены, и в глазах проглядывало выражение не то вины, не то участия.

«Не собирается ли он меня успокаивать, как маленькую? Очень нужно!» — подумала Лиза, но все же ей приятно было это «мы» и «сделаем».

Павеличев стал говорить о том, что ни отдел кадров, ни адресное бюро еще ничего не значат. Может быть, ее отец был тут в короткой командировке и не прописывался. «Я сам так ездил в Калугу, — уверенно выставил он такой довод, — а потом у военных, я слышал, вообще свой учет».

Лиза понимала: да, успокаивает. Как это отдел и бюро не имеют значения! Но слушала, ибо всегда слушают человека, который пробуждает надежду. Но что же еще предпринять? Видно было, что тут Павеличев затруднялся, и Лизе было неудобно, что посторонний человек должен что-то придумывать для нее.

— Надо, по-моему, людей расспрашивать, — несмело сказал он.

Это было наивно. Каких людей? Вероятно, на лице Лизы он заметил недоверие и поспешил сказать: тех людей, которые давно работают на строительстве. А для этого он зайдет в отдел кадров. И, чтобы уж совсем убедить девушку, он из большого кармана на куртке вынул блокнот и записал сведения о Михаиле Михайловиче и местный Лизин адрес. Это и в самом деле как-

то убедило Лизу. Может быть, этому помог широкий блокнот и особенный карман на куртке — большой, квадратный, с пуговкой в виде черного шарика. «Деловые люди!» — подумала Лиза. Но было и неловко: у него шлюз, дело, а она ему еще свои хлопоты...

Когда она пришла домой, соседка, живущая в квартире через площадку, передала ей ключ. Лиза знала, что дядя Сева на работе, — значит, это мама ушла и оставила ключ. Тогда должна быть записка от нее. На угловом столе, где находился письменный прибор, была открыта чернильница и лежал лист бумаги с начатым словом «Ли...». Видимо, мать раздумала оставлять записку. Вид бумаги и открытой чернильницы напомнил Лизе, что надо написать Варе. Она села к столу, отложила «Ли» и взяла чистый лист. Но тут послышались шаги, и вошла Софья Васильевна с Витей.

Бросив кепку на стул, Витя вытащил из-под дивана какую-то кривую, с намотанной веревкой палку и убежал во двор. Софья Васильевна, снимая на пороге комнаты шляпу и пыльник, выжидательно и как-то строго поглядывала на дочь.

— Ну, что в бюро? — спросила она.

— Ничего нет. Ни сейчас, ни раньше. Ты была на плотине?

— Была.— Софья Васильевна усмехнулась.— Не усидела.

В голосе, в котором Лиза знала все интонации, слышалась какая-то досада. «Наверное, как я, пришла на плотину — пусто, и все», — подумала Лиза.

— И ты была? — Со снятым пыльником Софья Васильевна все стояла на пороге комнаты.

— И я была. Но у меня лучше, — сказала Лиза уверенно.— Одного человека встретила, он поможет. Во всяком случае, обещал...— Она подошла, взяла из рук матери пыльник и отнесла его в переднюю.— Ну, входи. Сейчас расскажу. Павеличева встретила. Помнишь, с которым в вагоне ехали? Ну, который молоко из бутылки пил. Теперь он важный — шлюз будет снимать...

Глава четвертая

«СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ!»

1

В молодые годы есть тяга к необычным делам, которые потом оказываются, в сущности, обычными. Так Павеличев выбрал себе профессию. Занимаясь с детства фотографией, он еще до окончания школы решил стать кинооператором. Тут было все замечательно и необычно: поездки, новые места, новые люди и какая-то отчаянность... Да, сколько раз он читал, как оператор, зацепившись за выступ скалы, вися над пропастью, что-то снимает. Или на краю крыши, или лежа в болоте, или у огнедышащего мартена, или верхом на паровозе — ураганный ветер, свист, вопли на станциях и полустанках, а он этаким чертом, даже не держась за паровозную трубу, даже улыбаясь...

И, когда он подростком читал о награждении кинооператоров премиями — а таких было немало, — когда видел их портреты внизу газетного листа, думал: «И за это, за отчаянность...»

Еще на первом курсе операторского факультета он понял, что будет не совсем так. Когда же на летней практике поехал в первую экспедицию, то — да, новые места, новые люди, дорожные приключения, но опасности никакой не было. Все больше твердая земля была под ногами Павеличева. А если приходилось снимать с какого-нибудь необычного места, то он сам или руководитель съемочной группы должен был следить, чтобы операторская точка была, по возможности, покойной, удобной, ибо от оператора требовалось не удальство, а спокойный глаз и уверенная рука...

Да, отчаянности не было. И кроме того, оказалось, столько надо терпения, выдержки: то облако нашло, то свет не тот, то в кадр какая-нибудь чепуха попала, то тяжкое и просто унижительное безделье в ненастье и пересъемки, пересъемки...

Павел уже подумывал, не менять ли дело, но, когда спохватился, оказалось — уже полюбил его. Отец у него заведовал инструментальным складом на заводе. Сын еще мальчиком слышал воркотню матери: «У станка вон люди рекорды ставят, в почете, в славе. Да и денег больше приносят!» Отец усмехался: «Ты, мать, как дитя

малое, только на видимость обращаешь внимание! Вот видишь, например, колесико катится — и все... А почему? Что его толкает? Ведь без любви-то у него ходу настоящего бы не было... У нас теперь, слава богу, любовь можно выбрать по вкусу».

И действительно, колесико у отца покатилося. Из захламленной каморки с неугасимым электрическим светом отец сделал настоящий склад. Перенес перегородку, прорубил окно на свет божий, понаделал красивые стеллажи с ячейками, устланными белой байкой, — ну просто не склад, а выставка! Инструмент лежит в покое, в чистоте, в порядке. Нехитрое дело, но на других заводах старика Павеличева своим кладовщикам в пример ставили: вот как надо!

Павел и для себя понял: муторно, хлопотно это операторство, но предложи ему что другое — он не согласен. Значит, любит. Значит, все... И колесико покатилося дальше: вот он уже на третьем курсе, вот уже в съемочной группе...

Сегодня же, после разговора с Лизой, он почувствовал: вот дело, которого ему не хватало. Тоже в своем роде отчаянное, эффектное. Мать с дочерью ищут отца и не находят. А он приходит к ним и с бесстрастным выражением говорит: «Следуйте за мной!» И приводит их к отцу...

Историю о Шувалове он слышал еще в вагоне, но ничего не увидел для себя. То же самое, когда сегодня помогал Лизе найти операторскую точку. И, только когда стал утешать Лизу, вынул блокнот... Глаза у Лизы как-то посветлели.

Да, вот это дело!

Не откладывая — после раннего обеда в гостинице — он отправился в отдел кадров, чтобы узнать фамилии людей, давно работающих на строительстве. Для верности он начал с того же, с чего вчера и мать Лизы. Нина Ельникова — так звали толстую девушку — ответила, что тут уже спрашивали о Михайле Михайловиче Шувалове, что она разыскала двух Шуваловых, но не тех; что в выбывших тоже нет — чего же опять рыться? Но Павеличев, сделав официальное лицо, попросил все же посмотреть. Терпеливо дождавшись того же ответа, он спросил фамилии давнишних работников строительства.

Некоего Трофима Ивановича он нашел тут же, в уп-

равлении, на третьем этаже. Не старый, с продолговатым лицом человек зеленым карандашом вычерчивал какие-то линии на плане, по которому наискось проходила голубая полоса реки. Павеличев догадался: «И тут будут лесопосадки». Извинившись, Павел обратился к нему. Отложив карандаш, Трофим Иванович стал смотреть в окно. Нет, такого Шувалова он не помнит...

Второго старожилы, прораба Колосихина, Павеличев после долгих поисков нашел уже к вечеру, у пятого бычка. Рабочие хотели заделать пулевые выбоины в верхней части этого бычка. Сухощавый, загорелый, словно выжженный на солнце, прораб сердито остановил их:

— Что вы, ребята, с ума, что ли, сошли! Слезайте! Слезайте! — Не отводя глаз от рабочих, он устало присел на бетонную плашку. — Я же вам говорил: везде заделать, кроме пятого. Кроме! Этот на память остается.

Рабочие стали слезать с подмостков, а паренек в клетчатой кепке, повернутой козырьком назад, принимая сверху тяжелое ведро, бойко спросил:

— На какую на память, Семен Палыч?

Колосихин, устало покуривая, молчал с видом человека, который должен распоряжаться, а не входить в объяснения, почему и зачем. Но, заметив, что рабочие ждут ответа, да еще какой-то подошедший франт в белых брюках тоже выжидающе смотрит на него, он объяснил, что во время войны, когда немцы были на правом берегу, а мы на левом, наши разведчики, как люди рассказывали, по разрушенной тогда плотине ночью пробирались к правому берегу до самого пятого бычка, а то даже до крайнего, до нулевого. Во всяком случае, выбоины на пятом остались...

— Их, конечно, фашисты пулеметом, — пояснял он. — А они, конечно, ничего, лезут вперед. Настойчивые! Вот пусть на память эти щербинки и остаются. Товарищ Аверьянов распорядился. Экскурсиям будут потом объяснять.

Павеличев даже поморщился: как скверно человек рассказал! Павел сразу увидел черную ночь, отчаянных, смелых людей, пробирающихся к врагу, дождь бетонных осколков над головой, а может, и смерть... А тут «экскурсиям объяснять»! Будто для этого люди и ползли! Павел вынул из большого кармана куртки блокнот и быстро записал: «5-й бычок снять, расспросить, составить текст».

Блокнот, запись, а может, и белые брюки произвели на прораба впечатление, и он более охотно отозвался на обращение к нему Павеличева.

— А что он тут делал? — спросил Колосихин, помигав выцветшими ресницами. Было видно, что он затруднялся вспомнить человека с фамилией «Шувалов».

Павеличев даже просиял. Правильно! С этого — с его работы — и надо было бы начинать! И Павел, тотчас простив Колосихину его «экскурсии», рассказал, что было на экране: плотина, трос, люлька, какая-то черная комната внизу...

— Так это донное отверстие! — сразу сказал прораб.

— Когда это было?

— И было и есть. Все отверстия заделали, а с четвертым вот возимся еще, наращиваем бетон.

И он рассказал, что после бегства гитлеровцев, прежде чем приступить к восстановлению станции, надо было вскрыть донные отверстия, низом пропустить воду, а потом захлопнуть их со стороны верхнего бьефа — верхнего уровня воды — щитами, осушить и приступить к заделке бетоном.

Павел слушал и понимал: ничего определенного — работа с отверстиями была и есть. Правда, Колосихин появился тут в конце сорок четвертого года и Шувалова не помнит, — значит, тот был раньше. Но ведь о «раньше» ни отдел кадров, ни бюро ничего не знали! Чем же это «раньше» достовернее «позже», о котором тоже никто ничего не может сказать?

Прораб увидел разочарование на лице человека с блокнотом, да еще посланному к нему, как к старожилу. И он постарался сказать определеннее.

— Это было, несомненно, до меня! Почему? Первое: я его не помню, — начал Колосихин, загибая коричневые, сухие пальцы. — Второе: в организационный период, то есть в конце сорок третьего — в начале сорок четвертого, тут работали военные части. А ваш Шувалов военный... Третье: поэтому-то отдел кадров его и не знает. Тогда отдел-то этот только начинался. Ну, теперь ясно — до меня!

Начав, видимо, наугад, Колосихин хотя и путано, но дошел до какой-то определенности.

— Вы обратитесь к Авдею Афанасьевичу Прохорову, — не без участия в голосе сказал он, заметив, что

приезжий журналист — а он его принял за такового — погрузнел. — Сейчас канатная фабрика его к себе экономистом перетянула, а у нас он начинал до меня, с самого первого дня. И память хорошая...

Павел заглянул в свой блокнот: да, и Нина Ельникова указала ему на этого Прохорова. Он поблагодарил прораба и по пешеходной полосе, справа от проезжей части плотины, перебираясь через бетонные плашки и арматурное железо, медленно пошел к правому берегу.

2

Еще зимой Витя прочел в какой-то своей книжке о том, как один наш разведчик во время войны, держа во рту полый камыш, невидимо перешел реку. Плыла по реке камышинка — поди догадайся, что под ней человек... Прочтя, Витя даже засмеялся от удовольствия: так интересно, хитро и так просто!

Но это было не так просто, как казалось в Москве. Сейчас, в реке, ничего не получалось ни у него, ни у Глебки, сына дяди Севиной соседки по квартире, которого Витя уговорил быть «пловцом-невидимкой». Была река, был камыш во рту, были два умеющих плавать человека, но ничего невидимого не получалось.

Люди, лежащие на пляже, от нечего делать подавали им советы — надо начинать с глубокого места, другие говорили — с мелкого. Один из лежащих, накинув на плечи коричневую куртку, даже пошел к ним, чтобы что-то показать, но ребята бросились от него влево — ну вот еще, их будут учить!

И они опять пробовали. Пробовали и на разных местах, но не получалось ни на глубоком, ни на мелком. На глубоком — тело тотчас всплывало, а на мелком, чтобы выставить конец камыша над водой, приходилось садиться на корточки под воду и так далеко назад запрокидывать голову, что голова перевешивала тело и камыш, а за ним и «пловцы-невидимки» захлебывались водой.

Фыркая, отплевываясь, протирая глаза, узкоплечий, загорелый до синевы Глебка вдруг схватил Витю за руку.

— Смотри! Смотри! — испуганно воскликнул он, показывая на середину реки.

От середины реки к ним плыл камыш. Это было со-

вершенно так, как Витя видел на рисунке в книжке: еле заметная наклоненная камышинка, точно кто-то из-под воды чуть высунул ружейное дуло. Потом за камышинкой показалось темное, величиной с блюдце пятно, которое тут же приподнялось. Появились из воды мокрые волосы, лоб, черные, сдвинутые у переносицы брови. И вот невидимка вышел весь. Они в нем признали того купальщика в куртке, который недавно подходил к ним.

— Ну, поняли, головы садовые, как надо? — строго спросил появившийся, хлопая длинной камышинкой по воде.

Они ничего еще не поняли, но это было прекрасно! Человек не отфыркивался, не тер глаза. Нет, спокойно, ровно дыша, прошел под водой, будто по земле. Синий Глебка осторожно коснулся камыша незнакомца. Нет, и камыш был обыкновенный, только подлиннее.

Павеличев, раздумывая, повертел свою зеленую полую трубочку и вручил ее просиявшим ребятам. Рассказав, как держать камыш, как дышать, он с тем же строгим лицом вернулся на берег к своей одежде.

— Какие ребята непонятливые! — сказал он ворчливо, чтобы не подумали, что он сам ходил забавляться с камышом. — Мы, помню, легко это делали.

— Как только вы не забыли всего этого! — отозвался сосед по пляжу — белотелый, полный человек в желтых очках, поднятых на лоб. — Ведь небось с тех пор уж года два-три прошло.

Павеличев посмотрел на его несмеющиеся, слишком уж серьезные глаза.

— Побольше, побольше! — сказал он, поправляя в изголовье сложенную куртку. — Мне уже двадцать лет.

— Грандиозные года!

И сосед, опустив на глаза желтые очки, перевернулся на спину, раскинув по песку белые, полные руки, отвел вбок голову, собираясь, видимо, вздремнуть. Павеличев снял с себя мокрые трусики и, с треском тряхнув их, положил на песок сушиться.

«Что в этом человеке главное?» — подумал Павел, ложась на мохнатое узкое полотенце и смотря на соседа. Будучи кинооператором, он придерживался своего, как ему казалось, способа запечатления: искать в человеке, в пейзаже, в обстановке не эффектного, не красивого и даже не обыкновенного, а той главной приме-

ты, которая выделяла этот объект из ему подобных. Вот в этом соседе главным, конечно, было белое тело. Это легко, само собой напрашивалось: все на пляже загорелые или смуглые, а он как молоко. «Наверное, приехавший», — подумал Павел.

Он перевел взгляд на женский пляж, увидел вдалеке девушку, которая торопливо поднималась от пляжа на берег. Когда она повернула голову, он подумал: «Не Лиза ли это?» Но нет, только похожа. «А у нее в лице главное — добродушие», — вспомнил он Лизу и стал глядеть, как идет по гребню берега эта девушка. Тонкий нос, подбородок... Нет, совсем не похожа! У Лизы добродушие от расставленных глаз, а так-то у нее в лице что-то решительное.

Павеличев, подставляя под солнце спину, опустился на полотенце, положил голову на сложенную куртку и стал думать о том, что он еще ничего не сделал для Лизы.

...Вчера идти на канатную фабрику было уже поздно, сегодня с утра Геннадий Тихонович, руководитель группы, зачем-то решил отсылать в Москву заснятую пленку, а тут скоро обед, надо и на пляж сходить. Ну хорошо, после обеда он отправится к этому Авдею Афанасьевичу. Но что из того? Нет, эффектного «следуйте за мной» не получится. Куда он их приведет? В сорок четвертый год! Приведет и скажет: «Был...» Конечно, это «был» тоже нужно Лизе и ее матери, но это уже не то...

Спину припекало, и Павеличев, перевернувшись, лег навзничь. Еще немножко так — и в воду. Когда переворачивался, заметил около белотелого соседа в желтых очках какого-то нового человека — длиннолицего, белокурого, который, раздевшись и сидя на песке, негромко о чем-то говорил с этим соседом. Бумажный фунтик с вишнями лежал между ними, и они не спеша ели, беря ягоды за бледные стройные веточки. Павеличев усмехнулся: «И этот похож!» Со вчерашнего дня, как он пообещал Лизе помочь в розысках, он невольно вглядывался во всех прохожих и — странное дело — то в одном, то в другом находил что-то общее с тем портретом, который Лиза показывала еще в вагоне. Одного даже остановил: «Простите, вы не товарищ Шувалов?» Лицо соорил официальное, озабоченное, но, чувствует, было глупо.

— ...нет, для нашего времени это редкий, непонятный человек,— говорил длиннолицый, собирая вишневые косточки в кулак.— Весь в бумагах, в архивной пыли. А попробуй удивиться — он тебе ответит: «Я же ведь историко-архивный факультет окончил!» Надо же уметь выбрать такой факультет!

— Если любить эту работу, то почему же не выбрать? — отозвался сосед в желтых очках.— Надо же кому-то и архивами заниматься. Это ведь большое дело! Есть хорошие стихи: «Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из тьмы веков на мировом погосте звучат лишь письма...» — Он потянулся за вишней.— В хорошем архиве письма действительно звучат. В сорок седьмом году перебираю материалы по истории одной дивизии, которая, кстати сказать, от Завьяловска фашистов дальше гнала, и вдруг вижу писарской, с завитушками почерк. Описывается ночной налет эсэсовских автоматчиков на штаб батальона. Как раз то, что мне нужно было! Никто до этого рассказать не мог. Такой случай, что, кроме писаря, никого в живых не осталось...

Слушая это, Павел живым воображением вдруг увидел ночь, горстку людей, отчаянно отбивающихся от автоматчиков, и какого-то человека, залезшего куда-то под табуретку, под стол,— одни только подошвы видны.

— Почему же он уцелел? — с пренебрежением спросил Павеличев.— Спрятался?

Этот писарь, под табуреткой, созданный его воображением, был так гнусен ему, что он не заметил, как недовольно вмешался в чужой разговор, да и грубовато еще.

Сосед не спеша поднял желтые очки на лоб и полуобернулся к Павеличеву, прижав полный подбородок к голому покатоуму плечу.

— Это вы, дорогуша, литературы о писарях читались,— сказал он не сразу и, видимо, неохотно.— Почерк с завитушками, лицо в прыщах, глуповат и трусоват... Было, но прошло. Только завитушки остались, да и то, если на машинке перепечатано, не заметно.

И, видимо, считая, что одной нравоучительности достаточно для человека, который недавно еще забавлялся на реке с камышом, он снова обратился к светловолосому своему собеседнику, но первую фразу произнес громко, чтобы и этот «камышник» слышал:

— Родионов сражался в первых рядах, раненые рассказывали, и это его счастье, что он уцелел... Так вот, говорю, подробно, обстоятельно Родионов описал, как каждый работник штаба сражался и погиб. Это для меня была находка!

Он добрал последние вишни, и бумажный фунтик, пустой теперь и легкий, покатился под ветром к реке. Длиннолицый хотел что-то сказать, но белотелый сосед недовольным голосом стал говорить о каком-то другом, уже небрежном архиве:

— Представляете! Клички собак, которые участвовали в одном деле, известны, запечатлены, так сказать, для истории: Нельма, Пират, Веста, Горошек,— а о человеке известна только одна его фраза: «У кого дети — уйдите!..» Фраза знаменательная, но этого мало.

— Все это так,— ероша светлые волосы, быстро вставил его собеседник, которому, видимо, не терпелось продолжить разговор о каком-то общем их знакомом,— но, занимаясь архивами, нельзя же божьего света, жизни не видеть! А он весь там, в пыли. Книги читает только пожелтевшие. Очень уважает свечи. Трамвай не признает...

Тут его окликнул с берега какой-то коренастый человек в синем рабочем комбинезоне. Ведя впереди себя велосипед, он, подпрыгивая, спускался к реке. Длиннолицый тотчас поднялся, захватил в руки одежду и пошел вдоль воды к вновь прибывшему. Когда он повернулся, было видно, что левое ухо у него сморщено, словно завязано в узелок, и от него идет к шее темный рубец.

Павел снова перевернулся на спину, но, взглянув на часы, лежащие поверх куртки, вспомнил о канатной фабрике, стряхнул с колен песок и пошел купаться.

Солнце стояло за спиной, резко освещая на том берегу белые коттеджи поселка, блестя в стеклянных рамах парников, видневшихся слева от домов, пронизывая светом липовую аллею, идущую между коттеджами и рекой. Маленький «Москвич» бесшумно мчался по аллее, и тень от лип так часто и равномерно мелькала на машине, что нельзя было определить, какого она цвета.

Доплыв кролем до середины реки, Павел лег на спину и повернул обратно. Над ним стояло одинокое, какое-то крестообразное облако, словно белый трефо-

вый туз. Следя за ним, Павел улыбнулся, представив, что облако, будто передразнивая его, тоже плывет на спине... Почувствовав приближение берега, он опустил ноги, и действительно было уже дно. Выходить не хотелось. Он пошлепал рукой по воде, взбурлил ее. Вода как вода, а ведь вот недавно, минуту назад, она навалилась, напряглась и, пройдя через турбины, дала ток. А сейчас снова как самая обыкновенная — пей, купайся, лови рыбу...

Павлу было видно, как те двое, длиннолицый и его приземистый приятель с велосипедом, уже выкупались и теперь одевались на берегу. На приземистом была надетая военная форма, и он сейчас влезал в свой синий комбинезон. Павеличев увидел, что на спине его комбинезон испачкан чем-то белым — известкой или цементом.

«Постой! Постой! — Павел подергал мокрой рукой нос. — Есть же ведь еще военная часть. И этот оттуда!» Он только сейчас вспомнил, что стройке, по рассказам местных работников, уже не первые лето и осень кое в чем помогают саперы, находящиеся в лагере за правобережным поселком — вон там, за стеклами парников. Они, как непостоянные, временные работники, конечно, в отделе кадров не числятся, и потому эта Ельникова не могла сказать ни Лизиной матери, ни ему... И поэтому-то его и в адресном бюро нет! «Постой! Это что же? — Павел почувствовал какой-то озноб на спине. — Ведь это что же? Шувалов, может быть, тут, среди военных, живой, настоящий... Саперы — ведь это инженерные войска... И Лиза говорила: был в инженерных...» И сразу вернулся к прежней отчаянной мечте-удаче: не канатная фабрика с Авдеем Афанасьевичем, с его «был такой», а идет он вон туда, за липовую аллею, — за парники, а потом к Лизе, к матери ее: «Следуйте за мной...»

3

Он вылез из воды и, по коричневой куртке найдя свое место, быстро подошел к нему. Но не потянулся за полотенцем, не лег — стоял, поглаживая мокрое плечо, смотря на гребень берега, за которым скрылись те двое.

«Да, теперь может получиться, — думал он, — что

Лиза права: если отец за какой-то работой на плотине был снят в военной форме с погонами, это еще не значило, что его снимали во время войны...»

— Ну, как вода? — мельком взглянув, спросил сосед.

Он лежал на животе, с поднятыми на лоб желтыми очками и тонким карандашом что-то записывал в маленькую толстенькую книжицу в синем переплете.

— Вода?.. Вода теплая, — не сразу отозвался Павел и, словно очнувшись, потянулся за полотенцем. — Теплая вода...

Сосед посопел носом и продолжал писать, держа карандаш вертикально. На его макушке из-под черных волос проглядывала загорелая лысина. Большая белая спина была обожжена солнцем, но он, видимо, еще не заметил этого.

— Вы, наверное, должны знать, — сказал он, не отрываясь от своих записей, — как называются щиты на плотине, которые регулируют уровень верхней воды. Ну, этого, как тут говорят, верхнего бьефа.

— Щиты Стоunea?

— Верно, верно! Стоunea!.. Молодец, дядя!

Зашнуровывая белые парусиновые туфли, Павели-



чев покосился на собеседника, ожидая, когда он кончит писать. Но тот не кончал.

— А откуда вы решили,— несмело спросил Павел,— что я должен это знать?

— Кинооператоры обычно все видимое знают,— буркнул сосед и, посопев носом, добавил: — А то ведь потом спросят его: «Что это, милый, ты тут наснял?»

И, видимо почувствовав новое удивление Павеличева, повернул к нему полное, с близорукими глазами лицо.

— Ну, это легко догадаться,— сказал он, улыбаясь и кивая на куртку.— Только в одежде молодых кинооператоров можно встретить что-нибудь неожиданное... Ну вот, например, этот квадратный большой карман. А во-вторых, я вас, кажется, где-то тут видел на съемке... по-моему, на плотине. На вас тогда были голубые брюки.

— Темно-голубые, почти синие... обычные,— хмуро поправил Павеличев.

— Да вы не обижайтесь! В каждой профессии есть свои странности! — Помедлив, решив, видимо, задобрить юношу, сосед перевернул страничку в своей книжке.— Наш брат, например, любит записывать всякие мелочи, которые, может, даже не пригодятся ему... Ну вот: *«На нулевом бычке плотины,— прочел он,— висит мемориальная, пока деревянная, доска с именами солдат Зайченко и Бутузова, которые в 1944 году, перерезав в этом месте немецкий кабель, спасли плотину от грандиозного взрыва...»* Или вот: *«У начальника строительства, тяжелого, грузного мужчины, ловкие, быстрые, по-женски хлопотливые руки...»*

— Если это у нашего начальника,— сказал Павеличев, почему-то делая серьезное лицо,— то верно замечено.

— Какая прелесть! — пробурчал сосед.— Приехал человек на стройку на три дня — и начальник уже «наш». Люблю таких! — Он не торопясь полистал страницы книжицы назад и, что-то найдя там в записях, гмыкнул.— Или вот из давнишних впечатлений... Ну вот, например: *«Студент стриг ногти на ногах, не снимая носков...»* Представляете, какие носки...

Павел слушал, ему было приятно, что пожилой человек, вероятно журналист, который до этого разговаривал с ним снисходительно, сейчас читает ему, как

равному. Но книжница была толстая, а надо еще в гостиницу, быстро пообедать — и туда, за парники, в лагерь...

Однако, полистав еще свои записи, сосед закрыл книжницу, положил на песок. Тяжело перевернулся на спину и, встретив глазами солнце, опустил со лба желтые очки. На лице его сохранялось оживление, и Павеличев почувствовал, что надо что-то сказать или спросить: «Какая ваша профессия?», или как-то иначе ответить на прочитанное.

— Вы еще и архивами занимаетесь? — спросил он, вспомнив недавний его тут разговор с длиннолицым.

— Нет, не занимаюсь... — Сосед недоуменно повернул голову. — Ах, вы об этом: «У кого дети...» — он кивнул на то место, где сидел его знакомый, с которым он разговаривал об архивах. — Это так, случай, пришлось...

И вдруг озабоченно приподнялся на локте, оглянулся.

— Он совсем ушел?

— Наверное, совсем. Когда я купался, он поднялся на берег.

— Черт ее... эту рассеянность! Ну конечно, совсем ушел, у него же обеденный перерыв был. А мне завтра наутро надо у него пропуск в лабораторию! — Он посмотрел на часы, которые лежали на его соломенной кепке. — Э-э, милые мои, и грузовик уже ждет! И позвонить в лабораторию неоткуда будет...

Он стал быстро одеваться. На лице его появилось озабоченное выражение — видимо, он прикидывал в уме, как поступить.

— Так я могу позвонить ему, — сказал Павеличев, надевая куртку с квадратным карманом и испытывая некое смущение после недавних слов о необычности. — Приеду сейчас в гостиницу и позвоню.

— Дорогой мой! — под желтыми стеклами глаза соседа просияли. — Это замечательно! Именно из гостиницы лучше всего и дозвониться! — Он тотчас вырвал чистый листок из книжки, быстро написал на нем несколько строк и передал его Павеличеву. — Если его самого не будет, то тогда секретарша заказ на пропуск примет... Ну, большое вам спасибо! Я всегда знал, что с кинооператорами не пропадешь!

Он торопливо и весело дошнуровывал ботинок.

Они вместе поднялись на берег, дошли до первой

улицы, на углу которой, около булочной, стоял пыльный грузовик с надписью: «Совхоз «Вешний луч».

— Вот она, таратайка! — сказал новый знакомый Павеличева, подходя к кабине и кому-то там улыбаясь. — Не опоздал, не опоздал! Ровно три тридцать. — Он открыл дверцу, обернулся к Павеличеву и приподнял соломенную кепку. — Очень буду надеяться!

Машина отъехала. Павел, перебежав дорогу, вскочил в кузов, как тут все делали, первого встречного грузовика, направлявшегося на правый берег, и, задетый любопытством — кто же этот человек? — стоя вынул из кармана куртки его записку. Буквы стали прыгать — машина шла по булыжной мостовой, — и Павеличев, присев на неизбежное в каждом кузове запасное колесо, прочел:

Позв. т. Шувалову (37—00, доб. 191) и на 10 ч. утра зак. пропуск на имя Никодимцева И. Л.

Он продолжал смотреть на записку, уже не видя ее. В дальней стороне кузова, как огромная скомканная бумага, лежал брезент. На несмятом углу его протянулась темная, вероятно от масла, полоса. Как тот рубец от уха к шее...

Растерянно улыбаясь, Павел опять вернулся к записке. Да, конечно, имя Никодимцева он встречал под газетными очерками, но что значила эта фамилия в сравнении с первой! «И вот рядом был!...»

Глава пятая

У ЛИЗЫ — ТОЖЕ НОВОЕ

1

У Софьи Васильевны и у Лизы в тот день тоже было что-то новое.

Природа всяких поисков такова: сперва ничего, потом человек идет не в том направлении, затем уже где-то начинает брезжить... Как у геологов: сперва просто земля, потом пробное бурение, которое напрасным не назовешь, и уже затем настоящее место. Если бы не было этого процесса, не было бы в языке и слова «по-

иск», люди бы шли по прямой линии и сразу брали бы то, что им нужно.

...Когда Лиза вошла в комнату, Софья Васильевна сидела за столом, обложенная книгами, и писала в толстой клеенчатой тетради. Журналы «Литература в школе» в голубых обложках стопкой лежали на диване. Лиза всегда удивлялась материнским занятиям: «Все знает, восемнадцать лет преподает одно и то же, а все готовится».

— Теперь я догадываюсь, отчего рыжий чемодан был тяжелый.— Лиза кивнула на книги и журналы.— Ты это все с собой притащила! Не понимаю: программа старая, а ты готовишься!

— Программа старая, а жизнь каждый год новая.— Софья Васильевна писала, не оборачиваясь.— Кажется, уж о Пушкине все известно, а вот вышла новая книга о декабристах. О Маяковском в этом году три книги... Ты чего? — спросила она, заметив соломенную шляпу в руках дочери.

— Я хочу к диспетчеру сама сходить. Представляешь, вдруг он знает, а мы тут сидим...

Софье Васильевне посоветовали обратиться к главному диспетчеру строительства, который здесь работает только три года, но живет давно, знает город, людей.

— Нет, пойду я! — твердо сказала Софья Васильевна.— Да и рано еще, надо к четверем. Ты лучше почитай. Тебе за лето столько книг по литературе надо прочесть! Как начнется учебный год, Константин Иванович сразу спросит.

— Читаю...

Со шляпой в руках, Лиза присела на край стула и посмотрела в окно. Напротив, через дорогу, стоял зеленый, косо освещенный солнцем забор, и глянцевиные листья груш свешивались над ним.

— Мама, ты тоже считаешь, что Наташа Ростова — это положительный герой? — вдруг спросила она.

Софья Васильевна, выпустив из руки карандаш, быстро повернулась на стуле.

— Ты что? — Она помедлила.— Ну конечно...

— Нет, по правде? А то у нас Константин Иванович говорит: вот этот положительный и вот этот тоже положительный. А начинаешь читать — это просто скучные, нудные люди. Только рассуждают...

— Ну, про Наташу этого не скажешь!

— Да я и не говорю! Нет, про Наташу другое.— Лиза села поудобнее на стул и положила шляпу на колени.— Вот говорят: добра, отзывчива, верна, благородна. А к кому это все направлено? Да только к дому, к родным. Это нехитро! Это и я могу... А вот для других-то что? Только одно и сделала: приказала с подвод свои чемоданы и узлы свалить и положить раненых. Это, конечно, хорошо, но мало.

Софья Васильевна, ссылаясь на другое время и другие интересы, объяснила, как надо относиться к литературным героям прошлого. Но, когда Лиза ушла к себе, у Софьи Васильевны возникли, как это часто бывает, мысли более убедительные. Однако, развивая их и как бы про себя еще более убеждая Лизу, она невольно подумала: «А все-таки в этом Лизиним «а для других что?» есть что-то такое...»

Лиза, видимо, томила без дела и вскоре вернулась с бумагой в руках. Это было последнее письмо отца, хорошо известное им обоим.

— Что это за «мелкая работа» могла быть у папы? — спросила она, будто прочла там что-то новое.

Припомнив письмо — о чем Лиза может спрашивать? — Софья Васильевна сказала, что отец был заместителем командира и, возможно, надо было какой-нибудь отчет или таблицу составить.

— Да, но почему получается, что капитан жадный?

— Откуда жадный? Слушай, ты мне заниматься не даешь. Я хотела до диспетчера окончить...

Софья Васильевна все же протянула руку за письмом, и Лиза показала, с какого места надо читать. Пошли знакомые строки:

...разбил очки, а запасные забыл дома. Завтра мне предстоит очень мелкая работа, и без очков просто (тут одно слово было зачеркнуто) беда. Да не только для меня... Хочу сейчас съездить в штаб, к одному капитану, у которого стекла, кажется, моего размера,— может быть, даст на завтра. Должен дать. Кроме того, один дядя — добрая душа — тоже взялся мне их отыскать...

— Ну, почему же капитан жадный? — Софья Васильевна подняла глаза от письма.

— Как ты не понимаешь! — Лиза и сама чувствовала, что ее трудно понять.— Папа так уверенно пишет, что капитан должен дать. Ну, понимаешь,

будто дело такое важное, что даже жадный человек должен расщедриться...

Никакого «жадного» Софья Васильевна в письме не нашла, но подумала о другом: «Странно, что так много об очках! И у капитана будет просить, и еще какой-то человек достает... Видно, что он о них только и думает... Да, пожалуй, это не отчет». В подробностях об очках она вдруг почувствовала что-то тревожное, и ей было удивительно, что, столько раз читая это место в письме, она раньше ничего не замечала.

— Впрочем, у него это бывало,— сказала она, отвечая на свои мысли.— Что-нибудь понадобится, так сейчас же вынь да положь.

Лиза хотя и почувствовала, что «мелкая работа» — это не отчет, но ничего тревожного в этом не увидела. Она увидела другое, о чем и раньше думала: отцу без семьи, наверное, было тяжело, бесприютно. Даже вот какие-то разбитые очки его волновали, беспокоили — поэтому он так много, по-домашнему и пишет о них...

Лиза вышла на кухню, чуть сдвинула там крышку над кипящим супом и, постояв, вернулась к матери. Села на диван; заметив рядом свою шляпу, посмотрела на часы: не пора ли к диспетчеру? Софья Васильевна почувствовала ее взгляд, обернулась, и они, поняв друг друга, заговорили об отце.

— Ты все, мама, «был» да «был»! — сказала Лиза в середине разговора.

Софья Васильевна отодвинула голубые журналы — нет уж, не заниматься! — и, тяжело ступая, перешла на диван.

— Я тебе скажу так,— сказала она, строго и грустно смотря перед собой.— Толстой возмущался «Королем Лиром». Он не мог и не хотел понять, почему старик внезапно усомнился в дочери, которая все время жила рядом с ним. Которую он знал!.. Это на самом деле странно. Я Толстого понимаю. Вот представь — о тебе говорят какую-нибудь чепуху, а я уши развесила и верю! Ведь я-то тебя знаю... Вот ты строишь предположения, что отец жив и из-за какого-то ранения не показывается. Но для меня это уже пройденное. После сорок четвертого года соседки нашептывали: «Для вас он «без вести», а где-то, может, в полной известности!» И на примеры ссылались... Кто добрее из этих тетей был, те о непоправимом ранении говорили... Нет,—

Софья Васильевна встала, подошла опять к голубым обложкам, переложила их с места на место,— нет, я не верила ни первому, ни второму. А если бы было и третье, то и третьему не поверила бы... Ведь я же его знала.

— Но какое же может быть третье? — вздохнув, проговорила Лиза.

— Не знаю... Я так говорю, если бы было.— Софья Васильевна прислушалась.— Кажется, суп уходит...— И ушла в кухню.

Оттуда почти следом послышался стук, потом тонкий голосок и хлопнула дверь. Лиза догадалась, что приходила Ниночка — девочка соседки, у которой есть телефон. По тишине в кухне Лиза поняла, что мать вышла.

Она появилась снова минут через пять. На щеке дрожала какая-то жилка, но глаза были спокойные, строгие.

— Первые вести, но ничего такого...— сказала Софья Васильевна, мерно проходя по комнате и останавливаясь у окна.— Звонил с фабрики дядя Сева. Эта его сослуживица Наталья Феоктистовна... ну, у которой сестра жила там же, где она теперь...

— Ну, ну?!

Лиза, соскочив с дивана, уже стояла около матери.

— ...получила ответ от этой сестры. Да, такой человек жил у нее в Завьяловске в начале сорок четвертого года.

— Жил? А потом?

— А потом не то переехал, не то уехал. Этого она не помнит — давно было.

— А где письмо? — Лиза даже протянула руку.

— Я же говорю — по телефону... Жил две или три недели. В военной форме, невысокий, светлые волосы... Представляешь,— Софья Васильевна, неловко улыбаясь, в упор посмотрела на Лизу, и Лиза увидела на ее глазах слезы,— представляешь, эта сестра запомнила: был вежливый, обходительный...

— Еще что? — У Лизы в руках уже была ее соломенная шляпа.

Через полчаса она подходила к воротам кондитерской фабрики.

По словам матери, дядя Сева передал все, что бы-

ло в письме об отце, но ей хотелось увидеть это письмо. Вчера, после встречи с Павеличевым, она как-то успокоилась — уж он-то что-нибудь узнает! Вечером все вчетвером, с дядей Севой и Витей, были в кино, потом зашли в летний сад, ели мороженое; играл духовой оркестр, который Витя первый раз видел, — до этого только слушал по радио. У Лизы было такое чувство, будто с нее и с мамы что-то переложено на другие плечи. Но сегодня с утра начала томиться от бездействия. Павеличев — это хорошо, но она-то что? Будет ждать? И вот письмо давало выход этому. Сначала ей захотелось позвонить дяде Севе, узнать адрес его сослуживицы и бежать к тому дому. Но Софья Васильевна сказала: кто же ее впустит, раз Наталья Феокистовна на работе! Ну хорошо, тогда она увидит письмо собственными глазами.

...У дяди Севы кто-то был, и он, увидев Лизу, кивнул на стул: «Посиди». В маленькой комнате сильно пахло ванилью — как и на лестнице, пока Лиза поднималась, — а за стеной или под полом что-то глухо и равномерно урчало.

Присев за столик, Лиза исподлобья взглянула на дядиногo посетителя. Был тот темный, загорелый, с сединой на висках. Разговаривая, он медленно, будто нехотя, шевелил толстыми губами.

— У нас в районе, — рассказывал он, — Ползуновский держится, как тенор на гастролях. Смотрит не на вас, а будто какую-то картину за вашей спиной рассматривает. Но со мной он теперь иначе: «Садитесь. Очень рад. Что угодно?» Я его как-то спросил: «Вы не замечали, Аркадий Семенович, как лауреатство меняет людей?» Он отвечает: «В каком смысле? Судя по вас, я не вижу никакой перемены. Вы все такой же...» — «Я не о себе, — говорю я, — а о вас! До того как я получил звание лауреата, вы со мной скучно так, вя-ало разговаривали!»

Дядя Сева любит смешное, и Лиза видит, что он выжидательно поглядывает на гостя: не будет ли еще чего? Но тот приподнимает со стола папиросную, с просвечивающимся фиолетовым шрифтом бумагу, и они говорят — видимо, продолжают ранее начатый разговор — о каких-то асинхронных и фланцевых двигателях.

Вскоре посетитель поднялся. Провожая, дядя Сева

подхватил с подоконника раскрытую белую коробку с коричневыми конфетами.

— Вот новость у нас на фабрике! Попробуйте-ка! Драже на пшеницу накатали! Говорят, лучше ореха...

Гость поблагодарил, но без охоты поднес коричневую горошину к толстым губам. Он кивнул Лизе — та, встав, поклонилась — и вышел.

...Бывают такие встречи. Мы видим человека мельком, пусть даже сидим с ним рядом в долгом пути вагона, но вот он уходит, исчезает, мимоходный, случайный, даже память его не удерживает. Проходит время — и вдруг он возникает снова, уже другой для нас...

— Вот, учись жить! — громко сказал Всеволод Васильевич, с шумом возвращаясь в комнату. — Обычно директор фабрики сидит на лишнем оборудовании, как жадюга, ни себе, ни людям, а этот вот, Кузнецов, предлагает и нам и «Новой заре». Может, мы ему приятели? Нет, два раза в обкоме на совещаниях встречались. — Большой рукой он пододвинул Лизе ту же белую коробку. — Попробуй! Это Натальи Феоктистовны работа. Отстояла свое... Ты зачем пришла? Фабрику посмотреть?

— Я хотела у Натальи Феоктистовны то письмо попросить. Если можно...

— Так я же маме все по телефону передал.

Он пошел к своему столу, и по тому, что он начал отодвигать ящики и посматривать туда, Лиза поняла, что письмо тут. Она взяла щепотку драже и подошла к нему, ожидая. На столе лежал какой-то чертеж, сделанный на листе ученической тетради. Чертеж напоминал не то мясорубку, не то лебедя с каким-то винтом. Приговаривая: «Да тут где-то сверху было», — Всеволод Васильевич наконец нашел письмо и передал его Лизе. Потом пододвинул чертеж, взял карандаш и, теребя кончик уха, задумался.

Дорогая Наташа!

Только что получила твою открытку и спешу ответить, так как один товарищ из нашего института едет в Завьяловск и там опустит это письмо.

Помню человека, о котором ты спрашиваешь, хотя с освобождения Завьяловска до твоего приезда в маленькой комнате перебивало много квартирантов. И военные

и командированные на строительство. Жили по неделе, по месяцу. Да я тебе говорила...

Что я знаю о М. М. Шувалове? Очень мало. Как все мои квартиранты за эти годы, уходил утром и возвращался только спать. Я тоже, как ты знаешь, приходила из управления поздно. Ну, что я о нем знаю? До этого он жил где-то в поселке, далеко от работы. Переехал он ко мне в конце января или в начале февраля сорок четвертого года. Потому запомнила, что он появился сразу после Телегина (помнишь, я тебе говорила, который брэнчал с шести утра на гитаре, ну тот, который предлагал мне руку, сердце и комнату на южную сторону, когда построят новый дом!). Приехал, значит, после Телегина. Среднего роста, в военной форме, белокурый, волосы зачесаны назад, большой лоб, обходительный, вежливый. Помню, сразу наступила по утрам и вечерам тишина. Пробыл недели три и уехал. Или переехал на новую квартиру — не помню. Вот и все.

Твоя К л а в д и я.

Лиза снова начала читать письмо. И, пока читала, все больше, все нетерпеливее хотелось узнать адрес и скорее к тому дому... Но к дяде Севе опять кто-то пришел. Она подняла глаза от письма и увидала за столом рядом с дядей остроносого паренька в белой спецовке. Лицо у него было оживленное, довольное, но смущенное.

— Придуманно здорово! — гулко, на всю комнату, гремел Всеволод Васильевич. — И хорошо, что для кегель-машины! Но ведь для кривошипа или коленчатого вала надо шарнирную связку! — Для лучшего обозрения Всеволод Васильевич ловко, одним движением, приколот чертеж на стену, и Лиза увидала, что в лебедя теперь воткнут второй винт. — А у тебя, милый, шатун на честном слове держится, на слюнях... Подумай! Я вот тут подправил, но посмотри, пройдет ли. Подумай!

И, как только паренек, размахивая своим чертежом, ушел, Лиза спросила об адресе. Всеволод Васильевич, стоя среди комнаты, помигал глазами — в мыслях еще держался листок из ученической тетради.

— Это ты зря, — сказал он, поняв, зачем Лиза спрашивает адрес. — Я уже узнавал у Натальи Феоктистовны — никаких следов. И народ там менялся, и

вообще-то прожил человек три недели, как в гостинице.

Но адрес сообщил, и Лиза записала: «Улица Шевченко, 15».

— Зеленый такой деревянный дом...— невнятно добавил он и стал поправлять хрустящие трубы ватмана, в порядке лежащие на этажерке.

Всеволод Васильевич проводил Лизу до площадки второго этажа, где был проход на улицу. Пока он объяснял, как идти, где повернуть, из правой двери, ведущей из цеха, вышла группа людей и впереди них молодая миловидная женщина в очень белом, изящно скроенном халате и в такой же белой полотняной шапочке, легко держащейся на ее пушистых волосах. Тотчас дядя Сева стал говорить каким-то другим, неестественным голосом — кругло, отчетливо, вроде радиодиктора. Женщина полукивнула, полуулыбнулась ему, как бы говоря: «Видите вот, занята», и более пристально посмотрела на девушку, с которой он говорил. Вместе с группой она прошла в левую дверь, в другой цех, оттуда сильно потянуло запахом шоколада.

— Комиссии обследования — это наша напасть! — сказал дядя Сева уже обычным голосом, который Лизе сейчас показался потухшим.

3

Не откладывая, будто ее там что-то ждало, Лиза отправилась не домой, а на улицу Шевченко.

Она чувствовала, что от нее пахнет ванилью, и невольно пожалела, что так налетом, наскоро была на фабрике: ведь угостили бы чем-нибудь...

Уехал или переехал? Если уехал — это значит вперед, на войну, и там все кончилось. Если переехал — значит, жил в Завьяловске и дальше. Может быть, и теперь тоже...

Ни отдел, ни адресное бюро не подтверждали этого, но из надежд мы выбираем лучшую, да других надежд и не бывает. Несмотря ни на что, и Лиза думала: «Не на улице Шевченко, так где-то тут еще, надо только хорошо поискать». Она вспомнила о Павеличеве, представила: он сейчас, в эту минуту, тоже ходит, ищет... Если только не забыл за своими делами. Но, если не забыл, ей хотелось бы через завьяловские кварталы крикнуть ему: «Спасибо!»

Улица была с каменными тротуарами, недавно тут прошел дождь, и прямоугольные плиты отливали то темно-лиловым, то темно-красным цветом. «Приехал в конце января или в начале февраля...» Да, тогда тут были сугробы, но все же он ходил по этим плитам.

Вот и дом. «Улица Шевченко, № 15», — прочла Лиза на домовом фонаре-табличке. Медленно идя по другой стороне улицы, она рассматривала зеленый двухэтажный дом, окна, занавески. Она приостановилась. «На первом или на втором этаже?» Да, без хозяйки войти нельзя, да и войдя, услышишь только: «Был». Но она стояла перед домом — после недавних бюро и отделов, после всяких «нет» это было первое утверждение. Что делать дальше? Был бы рядом Павеличев, он бы придумал. Лиза вспомнила, как вчера, спускаясь с крутого берега к реке, он подал ей руку и она так легко, держась за нее, сбегала...

Из ворот зеленого дома вышла маленькая девочка, с куском хлеба, намазанным чем-то розовым. Исподлобья глядя на тетю, стоящую на той стороне улицы, она начала откусывать от хлеба.

Лизе стало неловко от этого взгляда, — может, и еще кто из окон смотрит на нее, удивляется: чего эта тут стоит?

Она пошла дальше по улице. Вспомнив девочку с куском хлеба, она почувствовала, что хочет есть, но до обеда было далеко — пока не вернется мама от диспетчера, пока не придет дядя. Захотелось вдруг, чтобы рядом была Варя или Светлана, — уютнее, веселее было бы тут сейчас. Может быть, сегодня до обеда успеет наконец написать Варе. Но о чем? «Курс — норд» никуда еще ее не привел, а Варя, конечно, ждет продолжения того, что они увидели весной.

* * *

Улица, спускаясь, привела к реке недалеко от плотины. Опять во всей могучей красоте развернулась зубчатая бетонная дуга поперек реки. Вот и на это Варя со Светланой полюбовались бы... В прошлом году на кружке текущей политики Варя, говоря о пуске первых турбин на этой вот восстанавливаемой станции, передала на парты длинный и бледный снимок, вырезанный из газеты. Он был голый, пустой, без людей — не

с чем было сравнить величину постройки. Нет, только вот сейчас, когда своими глазами... Вон какими крохотными кажутся люди наверху плотины, сгрудившиеся в одном месте около перил! А люлька, в которую они садятся, чуть побольше спичечной коробки!

Лиза вдруг приостановилась. Знакомая картина! Не хватает только черной комнаты, куда тогда спускался отец. Она мысленно провела прямую — прямую отвеса, — по которой медленно начала спускаться люлька, и внизу, у воды, увидела и ее. Тут, ближе к левому берегу, у подножия плотины, зияла четырехугольная дыра. Странно, что прошлый раз ни она, ни Павеличев не заметили этого! Оглядев берег, Лиза поняла: тогда они смотрели с другого места и видели не всю плотину — выступ берега загораживал ближний край ее. То-то сегодня она показалась еще больше, длиннее.

Люлька меж тем спустилась до черного четырехугольника, и три мешковатые фигурки, выйдя из нее, ушли в темноту дыры. Пустая люлька быстро пошла кверху, задержалась на кране и снова, нагруженная людьми, медленно двинулась вниз.

— Дедушка, куда это они спускаются?

Лиза стояла около плоского дощатого домика, крытого черным лоснящимся толем. Как у всех недолгих построек, заведенных строительством гидростанции то там, то здесь на берегу, у домика был какой-то запыленный, голый вид. Тщедушный старик в белой расстегнутой рубашке и в валенках сидел на ящике у входа. Он посмотрел туда, куда показывала Лиза.

— В донные отверстия идут работать... Обеденный перерыв у бетонщиц кончился, вот и идут, — ответил он и вернулся к тому, что было у него в руках: откусанная баранка и эмалированная кружка с чаем. Видя, что девушка продолжает смотреть на эти отверстия, он добавил: — Название, конечно, неподходящее. Отверстие в заборе, в крыше бывает. А тут разве это! В эти донные отверстия на паровозе можно въезжать — и то кругом свободно будет. Пять на пять метров... Ничего себе дырочка-щелочка!

У Лизы мелькнула мысль: ведь по работе можно определить время, когда снимал оператор. Как это она раньше не догадалась узнать у кого-нибудь! Лиза спросила у старика, давно ли тут идет эта работа.

— С прошлого года начали их закрывать, — ответил

старик, опуская кружку на колено.— Теперь вот бетон наращивают, чтоб уж полностью. Многие уже наглухо закрыты. Возня страсть какая была! Вода через эти самые, извиняюсь, отверстия хлестала наотмашь, ужас как! Попадись не человек, а слон — и его бы, милого, отбросила. Ведь это не бочку затычкой заткнуть, а самую реку! Без героев, конечно, такое дело обойтись не могло.

Старик говорил дальше, а Лиза повторяла про себя первые его слова: «с прошлого года... с прошлого года...»

— А до этого была другая возня,— продолжал рассказывать старик. Отложив баранку и кружку, он, шаркая валенками, перенес свой ящик подальше от солнца, в тень.— Другая возня, может, почище первой. А может быть, и не почище. Но сказать, что легкая работа, тоже нельзя. Одним словом, после немцев надо было перво-наперво отверстия эти открыть. Пойдет тогда вода низом, верхушка плотины оголится — и чини ее, ремонтируй сколько хочешь...

Из этого Лиза услышала только нужное для себя: «другая возня, после немцев». Значит, сорок четвертый год, вернее — опять начиная с сорок четвертого года по нынешний...

Впрочем, что дадут разговоры со стариком?.. Надо поговорить с кем-нибудь работающим на плотине. И не поговорить, а лучше бы такой человек увидел тот фильм. Вспомнил бы по мелочам — по люльке, по крану... ну, по облаку, что ли... вспомнил, когда это было... Но где эта картина? В Завьяловске ее не показывают. Вот о чем Павеличеву надо сказать!

Старик, видимо, начал говорить о чем-то другом, потому что Лиза вдруг услышала:

— Пойдемте-ка, я вам это безобразие покажу! — сказал он и дотронулся до ее локтя.

В домике, который состоял из одной светлой, нагретой солнцем комнаты, расположились какие-то верстаки, столы с наколотой бумагой, банки с красками; у стены стопками лежали полированное дерево, мраморные плитки. Под ногами шуршало деревянное и каменное крошево. Старик подвел Лизу к стене, увешанной цветными рисунками.

— Вот в какой красоте плотина нам от фашистов досталась! — сказал он, показывая на длинный рисунок акварелью.

Это была не белая, сияющая на солнце зубчатая дуга, а челюсть с выщербленными зубами — многие бычки были взорваны. И не голубое небо, а серая муть стояла за ней. Лиза невольно обернулась от этого к окну, в котором во всей цельности и гармонии было видно настоящее. Сейчас оно показалось еще более красивым, завершенным, хотя Лиза знала, что работа на плотине еще не закончена.

Отойдя от этой акварели, она осмотрела карандашные и цветные зарисовки людей, — вероятно, знатных строителей станции. Разглядывая портреты, она искала... Нет, знакомого лица не было. «Да и как бы он мог попасть в знатные строители, когда он не строитель!» — успокаивая себя, подумала она. Но тотчас пришло и другое: «Не потому, что не строитель, а просто не такой человек. У него и за войну-то был всего один орден». Она вспомнила о разбитых очках, о которых было написано в последнем письме: что-то беспокойное, суетливое — понятное сожаление человека, привыкшего к тихой, усидчивой работе... Тут припомнились ей отцовские звонки в три часа ночи на станцию, светлый кружок микроскопа. Да, вот тут он мог бы показать себя, это его родное, любимое...

«Все это пустяки! — подумала она, отходя от портретов. — Был бы жив... Папа!»

У нее вдруг навернулись слезы на глаза. Может, от этого не сказанного, но как бы воскликнутого внутри «папа»; может, от какой-то жалости к отцу или недовольства собой: вдруг его нет в живых, а она чего-то спрашивает с него, будто осуждает его...

Чтобы скрыть слезы, она подошла к окну и незаметно утерла их. Слышно было, как за спиной старик снова занялся чаем. Вот просохнут глаза, и она пойдет. За окном виднелся берег, ведущий к пляжу, пустая, без плотины, река, остановившееся в жарком небе облако. Вода отливала синевой, казалась холодной, и Лиза, заметив женщин, идущих к пляжу, пожалела, что не взяла с собой полотенца — рядом ведь совсем... «Да можно и без полотенца». Она пошла к двери. Старик одним пальцем касался какой-то дощечки, лежащей на столе, касался осторожно, словно пробовал, не горячая ли.

— Это что? — спросила Лиза, останавливаясь.

Дощечка оказалась тонкой мраморной плиткой, на которой были выбиты и покрыты золотом слова: «Сол-

дат Д. Зайченко». Рядом лежала другая такая же плитка: «Солдат Ф. Бутузов».

— Да вот смотрю, золото высохло, не липнет ли,— отозвался старик.— Сейчас вот наши после обеда придут, будут доканчивать,— кивнул он на третью, в стороне, плитку, где было выбито, но еще не покрыто золотом: «Лейтенант А. Кузнецов».— Послезавтра, к открытию шлюза, требуется.

— Они шлюз строили?

— Нет, милая, они ничего не строили, они станцию спасали! — В глазах старика был отблеск какого-то давнишнего волнения или испуга.— Если бы не они, то им бы,— он кивнул на портреты строителей,— и плотину, и шлюз, и всю станцию надо было бы заново строить. Не то что бычков там не хватило бы, а ровным счетом с гладкого места пришлось бы начинать!

За дощатой стеной раздались голоса пришедших с обеда людей, и Лиза, простившись со стариком, поспешила выйти. Тут же, за домиком, началась тропинка на пляж, вскоре и он открылся — узкий, длинный, желто-зеленый: полоса песка и травы — обычный речной пляж. Лиза теперь вспомнила, что фамилии солдат «Зайченко» и «Бутузов» она видела на деревянной доске, прибитой к одному из бычков на правом берегу. И вспомнила, за что: перерезали взрывной немецкий кабель. Ей было приятно, что эту временную надпись сейчас перевели на мрамор.

Она дошла до женского пляжа и, не выбирая места, разделась, села на горячий песок, положила подбородок на круглые колени и так, Алёнушкой, стала смотреть на воду, на мелкую речную волну...

Глава шестая

«У КОГО ДЕТИ — УЙДИТЕ!»

1

Когда Павеличев подходил к гостинице, он примеривался, как, передавая по телефону заказ Никодимцева на пропуск, поудобнее спросить у этого Шувалова: не он ли?

Придя в гостиницу, он нашел у себя на кровати записку:

Куда ты пропал? Приехали цветники? Мы все у Ген. Тих. Сейчас же приходи!

Это было, конечно, событие. Приезд на открытие шлюза новой киногоруппы, которая будет делать цветную съемку, потребует перестановки сил.

Видимо, приход Павеличева был услышан. На пороге, быстро распахнув дверь, показалась рыжеволосая, некрасивая, но статная девушка лет двадцати, в светло-зеленом комбинезоне с большим квадратным карманом на груди. Это была Лариса — тоже студентка кинооператорского факультета.

— Ты что же стоишь? — накинулась она. — Цветники приехали!

— Знаю, прочел. Я только что пришел.

— Съемочные точки придется менять, уступать. Представляешь! — добавила она, блестя глазами.

Сбросив с плеча полотенце, Павеличев перед мутным гостиничным зеркалом наскоро расчесывал густые, свалившиеся на пляже черные волосы.

— Догадываюсь...

— Догадываешься? — Она зло усмехнулась и почему-то перешла на шепот: — А зачем? Мы первые приехали, мы выбрали точки. Пускай сами устраиваются! А наш Геннадий Тихонович расшаркивается: «Пожалуйста, пожалуйста!»

Она склонила голову набок — рыжие волосы упали на плечо, — выпятила нижнюю губу и сделала рукой пригласительный жест. И этого уже было достаточно, чтобы Павел узнал в ее изображении невозмутимого, уступчивого руководителя своей съемочной группы.

— Но у них, Лариса, тоже работа, — сказал он, куском мела натирая белые парусиновые туфли. — Им тоже надо...

— Очень хорошо! — Она пристально и лукаво посмотрела на его согнутую спину. — Стрельчатый кран им уступаешь? — вдруг спросила она.

Павеличев, не добелив туфлю, разогнулся.

— Почему же обязательно стрельчатый? — хмуро сказал он.

— Нет, ты мне отвечай прямо: стрельчатый уступаешь?

Место на кране, который они звали «стрельчатым», стоящем на выходе из шлюза, давало возможность сни-

мать и панораму, и общие, и даже средние планы. Выгодно было и направление: пароход, который первым проходил вновь открытый шлюз, шел прямо на оператора. Павел сразу по приезде облюбовал это место, и руководитель группы оставил его за ним.

— Если цветникам надо высокую точку,— сказал он, неуверенно принимаясь за другую туфлю,— то пусть возьмут порталный кран. И места там хоть на сто человек хватит, и неплохо. Ты же на портале будешь работать? Там неплохо! — повторил он.

Лариса засмеялась, и некрасивое лицо ее стало круглым, в розовых ямках.

— Ах, порталный! Все ясно! Все ясно! — Схватив Павла за волосы на макушке, она потянула вверх, как бы отстраняя Павеличева от туфель.— Ну что ты копаешься? Идем на собрание! К чему этот блеск? — Она не переставала смеяться и тянуть за волосы.— Идем, великодушный! Идем, гусь... стрелчатый!

Павел резко, сердито мотнул головой, освобождая волосы, и, покраснев, сведя брови в линию, разогнулся.

— Ну, хор-рошо! — Голос срывался. Павеличев со злостью бросил мел в угол комнаты.— Хорошо... Я уступаю им стрелчатый кран! Поняла? Уступаю...

Она перестала смеяться, но на губах, как пенка на остывающем молоке, еще подергивалась неровная затихающая улыбка.

— Ну и глупо! — помедлив, сказала она.— Да и кто тебе это позволит? Мы тоже снимаем не из личного интереса! Ты сейчас у Геннадия Тихоновича об этом и не заикайся! Ну, пошли же!

2

Стрелчатый кран, конечно, сразу привлек «цветников», но все сразу уладилось. Чернобородый режиссер, который руководил вновь приехавшей группой, повел себя неожиданно деликатно. Он не только не стал претендовать на «макушку» крана, но даже и не спросил, занята ли она. Зная, что, конечно, занята, он ловко, по-обезьяньи, перебирая и руками и ногами, поднялся на середину стрелы крана и, медленно поднося руку к глазам, огляделся. Потом, пятясь, стал спускаться.

— Прекрасная будет точка! — сказал он, спрыгивая

на землю.— И вам не помешаем. Сергей! — обратился он к одному из своих молодых операторов.— Возьми ее.

Так всегда бывает: когда хвалят чужое, свое — не похваленное — кажется сомнительным. Сейчас, после слов Харитонova — так звали чернобородого — о середине крана, Павеличев усомнился в своей верхней позиции: не чересчур ли он хватил? Ведь Харитонов был куда опытнее его...

Павлу захотелось тотчас же проверить и свой верх и чужую середину, но сейчас, при всех, делать это было как-то неудобно. Он присоединился к компании, которая теперь пошла вдоль берега шлюза.

Внизу, по сухому днищу шлюзовой камеры, как по дну гигантского ящика, ходили, что-то перетаскивали рабочие. Их голоса не были ни на что похожи. Эхо со дна оврага не могло так изменить звук, как здесь, среди высоких вертикальных и параллельных стен. Полукруглые мощные двустворчатые ворота шлюза то закрывались, то открывались. Створки приходили на соединение не одновременно, и русобородый, в белой капитанской фуражке старик, стоя на зыбком деревянном мостике над пропастью шлюза, сипло подавал команду начинать снова.

Вдоль берега шлюза раздавался стук молотков и топоров. Рабочие из сырых, неоструганных брусков и досок ладили ограждение. Оно, конечно, было временным, и рабочие не глядя устанавливали неказистые перильца или наотмашь, как попало, вбивая гвоздь, всем видом показывали, что делают неинтересную работу, которую не сегодня-завтра ломать придется.

Однако, когда худошавая женщина, кинооператор из группы Харитонova, сказала, поводя своими большими усталыми глазами: «К чему эти балаганы?.. Весь вид портят!» — один из плотников с франтовато закрученными усами, который только что небрежно раскалывал вдоль суковатую сырую доску, сказал:

— Вид, конечно, мадам, свою цену имеет. Но человеческая жизнь тоже не бесплатная. Вот как послезавтра вы тут, публика, соберетесь да толпой пойдете, вот этим мраморным балясинам спасибо скажете... Ну, два-три человека,— добавил он, незаметно для женщины подмигнув,— в шлюз, конечно, упадут. Без этого нельзя. Без этого даже неинтересно. Но не больше. Остальных эти вот перильца перехватят, удержат...

Когда отошли от плотников, худошавая женщина, заговорившая о перилах, сказала:

— Так-то оно так, но посмотрите, сколько этой осины! Ни один кадр без нее не обойдется! Я просто не знаю, как снимать...

— Уж как-нибудь, Ирина Ивановна, — поводя вокруг притворно-озабоченными, но что-то знающими глазами, отозвался чернобородый Харитонов. — Как-нибудь устроим.

Павеличев переглянулся с Ларисой, и та подошла к нему.

— Так ведь это Чересчур! — шепнула она, догадываясь, о чем он хотел спросить.

Павеличев мало знал цветников, но про операторшу Череду, которую за глаза звали «Чересчур», он, конечно, слышал. Так вот она какая!

Как в каждом искусстве, так и в искусстве кинорепортажа встречаются люди, которые следуют не за правдой жизни, а выбирают из жизни нечто произвольное, почему-то им понравившееся или почему-то признанное ими как могущее кому-то понравиться.

Так Ирина Ивановна Черета выбирала из жизни только то, что имело ощутимый и своеобразно понятый ею вид избыточности или, что ли, счастья: тесные от мебели комнаты; девушки у раскрытых шкафов, где виднелись десятки платьев; студенты с башнями книг на столах... Снимая младенцев в яслях, Ирина Ивановна выбирала для «крупного плана» не самых красивых, веселых или осмысленных младенцев, а самых пухлых, толстеньких. Снимая колхозную семью за обедом, она заботилась, чтобы на столе было как можно больше блюд.

Приехав однажды в Сочи, она прослышала, что одна знатная работница живет в гостинице и занимает номер люкс из пяти комнат. Черета помчалась туда. Так и грезилося: анфилада комнат, колонны, люстры и толстая, румяная девушка идет из комнаты в комнату...

Но слухи не подтвердились — девушка занимала обычный номер и не отличалась пухлым телосложением. Однако отступать было неудобно, и пришлось известную работницу запечатлеть на пленку. Но не сразу, а обдуманно. Попросив девушку надеть лучшее платье, Ирина Ивановна вывела ее на скверик около гостиницы, где были толстые пальмы и белые пузатые вазы. Замысел съемки неожиданно обогатился. Поблизости ока-

зался фруктовый ларек, где только что выставили решета с персиками. Какой-нибудь дурацкий пакет с персиками, конечно, не мог удовлетворить Череду. Было куплено все решето, и киноэюд получился неплохой. Конечно, это не анфилада комнат, но все же...

Позже, на просмотре хроники, Павеличев помнил, как кто-то сказал: «Нет, наша Чересчур, конечно, могла бы поучить Серова! Теперь я понимаю, как выиграла бы его «Девочка с персиками», если бы у нее на столе лежали не какие-то жалкие два-три персика, а стояло бы полное решето!»

...Легко было понять, как должна была отнестись Ирина Ивановна к осиновым неоструганным перильцам.

3

Как только стали пробираться к последней камере шлюза, Павеличев незаметно отстал — гости обойдутся и без его сопровождения, а у него есть еще дела.

Он вернулся к стрельчатому крану и поднялся на него. Нет, все было в порядке, верх был хорош, и Харитонов, конечно, деликатничал, называя середину «прекрасной». Она неплоха, но все же не сравнишь.

Павел выбрался на плотину, к попутным грузовикам.

Приехав в гостиницу, Павеличев, не заходя в комнату, подошел к телефону и позвонил. Лаборатория не отзывалась. Когда позвонил второй раз, телефонистка коммутатора быстро сказала: «Там никого нет. Работают до шести». Павел почувствовал, что покраснел. Это что же, человек просил заказать пропуск, понадеялся на него, а он прозевал время! Павеличев постоял у телефона, вертя круглую черную пуговку на кармане куртки. Нет, тут есть выход: встать завтра пораньше и с утра, до десяти часов, заказать пропуск Никодимцеву в лабораторию.

Но встречу с Шуваловым никак не хотелось откладывать на завтра. Он снова взялся за трубку — толстая девушка из отдела кадров управления тоже могла знать о длиннолицем химике.

Но и этот телефон не ответил.

Павел вошел в свою комнату и повалился на кровать. Лежал, смотрел в потолок. Нет, о Шувалове он должен знать сегодня! И чего он поплелся на шлюз? Ну хорошо, из-за стрельчатого, но ведь можно было сразу, как Ха-

ритонов слез с крана,— к телефону... Что же теперь? Искать по городу? Ехать в лабораторию и там узнать у какого-нибудь сторожа или коменданта... Но где адрес самой лаборатории? Тогда — управление... Начать с управления?

Он быстро встал с кровати, одернул куртку и, не дойдя до двери, вернулся. Присел у шкафчика, где стояла пол-литровая банка с молоком и лежал кусок хлеба с сыром. Сидя на корточках и прихлебывая из банки молоко, он вспомнил, что за сегодняшними делами он еще не обедал.

Управление строительства было в том же поселке, где стояла и гостиница. Минут через двадцать, поднявшись на второй этаж управления, Павеличев вошел в полутемный, не проветренный еще после служебного дня коридор. Толкнул одну дверь, вторую, третью. «Ну конечно,— подумал он,— скоро ведь семь часов». Но в конце коридора слышались голоса и какой-то негромкий, но резкий звук, будто грызли орехи. Павел пошел туда. В открытой двери был виден бритоголовый человек, быстро и ловко разграфлявший большой, в полстола, лист бумаги, и другой сотрудник — сутулый, резко отщелкивавший на счетах. На вопрос Павеличева об адресе сотрудника лаборатории они, не дослушав, дружно ответили: «Это в отделе кадров». Заметив, что этот отдел, к сожалению, уже кончил работу, Павел спросил об адресе самой лаборатории. Бритоголовый сказал, что она помещается в конце города, на Кооперативной улице. Тогда Павеличев снова спросил о Шувалове, но не об адресе его, а об имени-отчестве,— может быть, случайно знают. Нет, ни случайно, ни нарочно они не знали — лаборатория у строительства на отшибе. И так как чернобровый молодец все еще маячил на пороге, то тот, щелкающий на счетах, буркнул:

— В отделе кадров узнаете.

«Наладили — отдел кадров!» — подумал Павел, возвращаясь обратно по коридору и невольно разыскивая на дверных табличках название этого отдела. Куда-то ведь сюда, на второй этаж, приходил он к толстой девушке...

Павеличев дошел до лестницы и направился в правое крыло здания. Здесь одна стена коридора была застеклена наверху, и красные лучи заходящего солнца правильными квадратами лежали на другой, незастек-

ленной, белой стене. Тут было светлее и шумнее — слышались то там, то здесь голоса. Открыв одну дверь, Павел увидел в большой комнате, заставленной канцелярскими, сейчас пустыми столами, двух немолодых женщин, которые, сидя рядом и держа в руках по листу бумаги, считывали их, недоверчиво заглядывая друг к другу.

Павеличев ничего у них не спросил и пошел дальше. В машинном бюро дверь была открыта, и пышноволосая девушка, согнувшись над машинкой, что-то допечатывала, не зажигая света. Тут, слева от себя, он услышал шелест — будто осенние листья под ветром.

— Посторонись, милый!

Круглотелая, с веселыми глазами уборщица гнала шваброй бумажный листопад по коридору. Павел шагнул в сторону и прямо перед собой увидел табличку: «Отдел кадров». Дверь была полуоткрыта, и он обрадованно — «Наверное, вернулась дорабатывать!» — широко открыл ее.

Но вместо толстой девушки — зная из этого отдела только ее, он и ждал ее встретить, — он нашел в комнате пожилую худощавую уборщицу в синем халате. Обняв палку швабры, она мокрой тряпкой протирала большой, грузный, как кафедральный собор, письменный прибор, — видимо, прибор начальника толстой девушки. Во рту у нее дымилась тоненькая дешевая папироса.

— Вам кого? — спросила она, морща от дыма левый глаз, и, не ожидая ответа, добавила: — Все ушли. Ведь восьмой час уже.

— Я думал, может, задержались...

— Товарищ Аверьянов этого не любит! — тотчас и с явным удовольствием отозвалась женщина. — Он правильно считает: кто не успел, не справился — значит, плохой работник. Остаются только вон, — она кивнула в сторону еще обитаемой комнаты, — по специальному уговору. Да вам кого надо-то?

Павел знал, что Аверьянов — это парторг строительства и что его «не любит», наверное, было разумным делом, но в данном случае... Он ответил уборщице, что ему нужна товарищ Ельникова, и продолжал стоять, не зная, что дальше предпринять.

— Если вам по делу, то надо прийти завтра утром, — наставительно, будто посетитель сам об этом не догадается, сказала женщина. — А если по личному делу, — она, вынув папиросу изо рта, участливо оглядела

его всего, чернобрового, франтоватого,— то небось сами знаете, где Ниночка живет!

Павел не ответил, продолжая думать, к кому еще можно пойти. К Никодимцеву? Адрес нетрудно найти: в поселковой гостинице его нет, городских же гостиниц всего две — можно обойти их. Может, он еще не вернулся из совхоза? Проще всего, хоть и далеко, на Кооперативную улицу... «Вот загорелось! — подумал Павел, вспоминая, что эта Кооперативная черт знает где, в конце города.— Но здорово будет, если он!» И решил идти туда.

— Вам кого? — спросила круглотелая уборщица, проходя по коридору с ведром горячей воды.

— Они Ниночку спрашивают! — за Павеличева ответила из комнаты женщина с папиросой.

— Да чего же спрашивать? — подошедшая уборщица поставила около Павла ведро.— Она тут рядом живет! — И, щуря добрые глаза, стала объяснять, как пройти к ней.

Павеличев вдруг стал внимательно слушать. В самом деле, а почему не зайти к ней на дом? Если она недалеко, то, значит, ей нетрудно будет подняться в отдел кадров и по своей картотеке найти нужное. Ну, извиниться, попросить...

— Все не так,— сказала уборщица с папиросой, выходя из комнаты. Она почему-то решила, что посетитель признался наконец в личном деле к Ельниковой, и потому охотно вмешалась в разговор.— Проходными дворами запутаетесь, не слушайте ее! Идите по Лермонтовской до первого квартала, сверните налево...

* * *

Толстую девушку, Нину Ельникову, Павеличев нашел быстро. Уже из передней слышались звуки патефона и шарканье ног, которое бывает только при танце. «Рано здесь начинают! — недовольно подумал Павел.— С танцев неудобно как-то звать опять в канцелярию».

Запахавшись, с улыбкой на полном, румянном лице, видимо ожидая кого-то, вбежала Ельникова в переднюю и остановилась. Улыбка ее стала уменьшаться, таять, и, как только она исчезла, рот ее снова приоткрылся. Но это уже было удивление...

Попросив извинения и сказав, что пришел на минут-

ку по делу, Павеличев кивнул на маленькую пустую комнату, которая виднелась слева. Они прошли туда. На столе — видимо приготовленное для гостей — стояло большое блюдо с винегретом и другое, еще большее, — с темно-красными вишнями. В углу на диване сидела старая женщина — вероятно бабушка, — которая не обратила на них внимания.

Не присаживаясь, сохраняя официальный тон, Павеличев сказал, что прошлый раз, когда семья Шуваловых и потом он наводили у нее, у Ельниковой, справку, никто не знал, что у строительства есть еще на окраине города лаборатория, и не спросили тогда о ней. А именно там-то среди сотрудников, кажется, и находится тот человек... Павеличеву очень неудобно, что он отрывает товарища Ельникову от гостей, но тут до управления недалеко, и хорошо было бы посмотреть, справиться...

Лицо Ельниковой было тоже строго, официально, но в душе она испытывала удовольствие: только к большим начальникам и в экстренных случаях приходят по делу на дом. Она уже представляла, как скажет, вернувшись к танцам: «Из управления приходили. Даже дома покоя нет!..» Кроме того, она краем глаза замечала, что подружки тайком заглядывали в комнату — значит, видели и ее серьезное лицо, с которым она принимала посетителя, и самого посетителя — ясное дело, москвича, да еще такого красивого.

Поэтому она плохо слушала Павеличева и только после того, как поняла, что тот собирается тащить ее сейчас в управление — что было бы ужасно! — она стала слушать его внимательно. Но было уже поздно, он кончил и, сведя брови, выжидательно смотрел на нее.

— Видите ли, сейчас я не могу пойти, — несмело начала она. — Вы говорите — лаборатория... Вам надо справку о лаборатории, что она есть? Да, да, она, конечно, у нас имеется, на Кооперативной улице! — сказала она, стараясь быть уверенной, деловой, но вдруг пунцово, что только бывает с полными и молодыми девушками, покраснела. Взяла с блюда одну вишню, уронив несколько ягод на пол. — Я, знаете, сразу от танцев и не все поняла. Повторите, пожалуйста! — добавила она тихим голосом, настороженно поглядывая на дверь.

Павеличев повторил. Ельникова, еще не дослушав его, просияла: так просто, ясно и, главное, никуда от танцев ходить не надо!

— Послушайте, ну как же так! Ну, не так вы меня тогда поняли! — Улыбаясь, она взяла еще вишню и ему кивнула на блюдо. — Когда я вам разыскивала этого Шувалова, то разыскивала не по отделам, не по объектам, а по общему алфавиту. Помните, я вам сказала про двух Шуваловых, но вы ответили, что это не то...

— Значит, в алфавит и лаборатория входила?

— Ну конечно! И там, в лаборатории, как раз есть один из этих Шуваловых... Василий Захарович.

Павеличев почувствовал, что кто-то сбоку трогает его за куртку. Он обернулся. Это бабушка, протянув руку, щупала коричневую, похожую на замшу материю.

— Почему материал брали? — спросила она.

Павеличев, не понимая, посмотрел на нее и снова обратился к Ельниковой:

— Вы хорошо знаете, помните, что именно Василий Захарович?

— Ну, еще бы не знать! — весело, охотно, не обращая внимания на то, что посетитель погрузился, говорила Ельникова. — Ведь Василий Захарович придумал цементацию бетона. Его портрет был в многотиражке. Например, бетон будто хорош, но оказывается, от немецких взрывов в нем есть незаметные трещинки. И вот берут...

Она говорила подробно, — вот теперь она сведущая и знающая сотрудница управления. Павеличев думал о своем: «Ну, тут, значит, все кончено, мимо...» Он думал уже о завтра, о батальоне — о новом пути. От блюда с винегретом, стоявшего на столе, вкусно пахло уксусом, и он вспомнил, что не обедал еще сегодня. Но не получилось бы с батальоном, как с лабораторией...

— Ну, а вот на стройке есть еще военные? — спросил он, собираясь уходить. — Они-то уж отдельно от вас?

— Ну конечно, отдельно! — сказала Нина, поняв, о чем он спрашивает. — Они же не в штате, просто так, иногда помогают.

И тут она заметила его опечаленное лицо. Двумя руками подняла блюдо с вишнями и поднесла его к нему. Он взял несколько ягод и, потоптавшись, стал прощаться. Когда кивнул головой бабушке, та с дивана сказала:

— Хорошая материя...

И то ли от поднесенного, как гостю, блюда, то ли от приветливого любопытства бабушки, но Нине Ельниковой показалось, что перед ней уже не посетитель, а как бы гость, да и неплохой...

— Знаете что,— сказала она, улыбаясь уже какой-то новой улыбкой, похожей на ту, с которой она недавно вбежала в переднюю,— оставайтесь танцевать...

На следующий день после проведенного вечера у Ельниковых, в двенадцатом часу дня, Павеличев шел в батальон.

Липовая прибрежная аллея и поселок остались позади. Впереди и чуть вправо от дороги блестели стекла парников, и от их режущего блеска некуда было деться — потухала одна рама, но тотчас, как Павел проходил несколько шагов, загорались другие...

Появилась мошкара, о которой вчера у Ельниковых бабушка сказала, что «ей пора объявиться». Коричнево-рыжими, тающими, как дым, клубами она то налетала, то под ветром исчезала. На дороге показался мальчик-пастух с десятком белых коз. Нежная и длинная шерсть под горлом коз просвечивала на солнце. Сзади важно шел черный козел с лохматой, какой-то неприбранной шерстью и, подняв голову с желтыми, чертячьими глазами, присматривал и за козами и за мальчиком-пастухом.

...Младший лейтенант с розовым и нежным румянцем, дежуривший сегодня по батальону, принял Павеличева со старательной серьезностью, которой он хотел скрыть свою неопытность в приеме посетителей. Глядя на его внимательное и даже озабоченное лицо, Павеличев невольно стал говорить подробнее, чем хотел, однако, как только он произнес фамилию разыскиваемого им лица, лейтенант не удержался на своей серьезности и вдруг заулыбался. Павеличев приостановился.

— Вы знаете Шувалова? — быстро спросил Павел, придвигая стул ближе к столу, за которым они сидели. — Он тут?

— У нас нет Шувалова, то есть нужного вам Шувалова,— продолжая улыбаться, отвечал лейтенант.— Мне это легко вам сказать.

— Почему же легко?

— Да потому, что я уже наводил о нем справки. Вчера вечером, когда я заступил на дежурство, приходил один гражданин и тоже спрашивал этого же Шувалова. Ну вот, поэтому я и знаю, что нужного вам человека у нас нет. Да и не было.

Павеличев, приоткрыв рот, замолчал; подняв широкие черные брови, смотрел на лейтенанта. Но тут же сообразил: «От Лизы же могли приходиться. Ну этот... ее дядя». Однако все же спросил, вспомнив Лизино описание этого человека:

— Такой большой, крупный приходил?

— Нет, среднего роста, обыкновенный.

«Не дядя? Ну, тогда, значит, кого-нибудь попросили сходить!» — подумал Павел, удивляясь все же, что Лиза или кто-то из ее семьи догадался направить этого человека по тому же пути.

— Ну что ж... — вздохнув, сказал Павеличев, вставая со стула и стряхивая с белой футболки мелкие коричневые точки раздавленной мошкары. — Вот этой саранчи на плотине, в городе еще нет, а у вас уже появилась.

— И там сегодня она будет. Вы за нее не беспокойтесь! — весело отозвался лейтенант, но, видя, что Павеличев, занятый своими мыслями, не улыбнулся, вздохнув, добавил уже другим тоном: — Во время войны это бывало. У меня тоже вот те... одна родственница без вести пропала. — Он встал из-за стола, неловко одернув толстый ремень: — В общем, она мне тетей приходилась. Но, знаете, как-то неудобно говорить: «Тетя пропала...» Тетя Надя была младшим врачом. И вот не то жива, не то нет. Еще хорошо, что у вашего Шувалова детей не было, а тут остались муж и двое девочек.

— Почему же вы думаете, что у Шувалова нет детей? Есть. Дочь и сын.

Лейтенант, медленно потирая щеку, посмотрел на Павеличева.

— Тогда, значит, вы не того Шувалова ищете, — сказал он.

— Ну, как не того! — В голосе Павеличева было не то удивление, не то какая-то надежда. Он снова сел за стол и, взяв деревянное пресс-папье, стал пристукивать им, перечисляя: — Михаил Михайлович, тридцати девяти лет... теперь было бы сорок три... Был в звании майора...

На нежном лице лейтенанта появилась озабоченность, смешанная с любопытством.

— Нет, я не в том смысле, — сказал он, — а в том, что гражданин вчера, наверное, о другом Шувалове спрашивал. Хотя все совпадает, кроме детей.

Для Павла это было странно: приходил человек от Лизы или от ее матери и не знал про детей!

— Погодите! Он вам так прямо и сказал: «Детей нет»?

— Нет, так он не говорил.— Лейтенант обошел стол и тоже сел.— Но косвенно легко можно было понять. У него о майоре были очень краткие сведения. Настолько краткие, что он даже не знал ни фамилии майора, ни его имени...

— Как же он пришел к вам разыскивать,— усмехнувшись, перебил Павел,— не зная ни фамилии, ни имени? Майоров на земле много.

— Нет, когда он пришел, то уже знал. Но недавно, только что, узнал. Да потом, он и не разыскивал, а только хотел узнать, нет ли у нас случайно каких-нибудь сведений об этом майоре.

— Не понимаю...

Павеличев, выпустив ручку пресс-папье, сидел, откинувшись на стуле, и, сведя брови в линию, смотрел в окно за спиной лейтенанта. Там перед опушкой леса виднелись желто-зеленые палатки и высокие ворота из темных столбов, на которых были прикреплены гимнастические кольца, шест, лестница. «Нет, это не от Лизы и не от них человек приходил,— думал Павел.— Но тогда от кого и зачем?»

Лейтенант меж тем продолжал:

— Сведения были короткие, и, как я понял с его слов, они касались какого-то боевого эпизода, где майор участвовал. Дело, видимо, было серьезное, но много людей не требовалось, потому что те, у кого имелись дети, от операции были отстранены. А майор участвовал в деле, поэтому я и полагаю, что детей у Шувалова не было. Вот мне и кажется, что речь идет о разных людях...

Павеличев с шумом отодвинул стул, приподнялся.

— Он был в очках? В желтых очках? Ну, тот, который вчера...

— Нет, без всяких очков.

— Ну да, конечно! — Павел поморщился.— Такие очки только для пляжа. Ну хорошо, на голове небольшая лысина?

— Не заметил.

— Ну как же так! Подождите! Ну, среднего роста, тело не загорелое, белое такое... Впрочем, он у вас тут был одетым,— Павеличев досадливо улыбнулся.— Ну,

что же еще? — Память вдруг подсказала: на песке лежит соломенная кепка и в ней тикают часы.— Соломенная кепка? Да?

— Да, в соломенной кепке был.

— Еще синенькая записная книжка. Впрочем, мог ее не вынимать.

— Нет, вынимал.

— Синенькая и карандаш в металлической оправе?

— Точно.

— Ну, всё!

Павеличев, вскинув брови, сияя глазами, быстро прошелся по комнате дежурного.

— Ну, все, товарищ лейтенант! — повторил он.— Ну, все! Это Никодимцев был.

Лейтенант припомнил: да, когда вчерашний гость буркнул свою фамилию, было что-то похожее на это. Но он не мог понять, что нового для Павеличева могла дать эта фамилия. Однако ему было приятно, что тот обрадовался ей. Павеличев же сам не знал, чему ему радоваться. Ну хорошо, он догадался, кто сюда приходил, но дальше что? Никодимцев так же ни с чем отсюда вчера ушел, как и он сейчас уйдет. Сведений о Шувалове у Никодимцева меньше, чем у него. Он даже фамилию Шувалова, если лейтенант не путает, недавно узнал! Но сведения у него какие-то другие. Да, видимо, другие, если он о майоре собирается писать. А это ясно, что собирается... Но о чем? Жил-был человек, поехал на войну и пропал? Нет, значит, есть то, чего он, Павеличев, не знает. И Павел снова вспомнил тот разговор об архивах, которые на пляже вел Никодимцев с длиннолицым химиком, с тем самым, след которого привел к Ельниковым, к танцам,— никуда...

Странное дело — Павеличеву не хотелось уходить из дежурки, от лейтенанта. Вдвоем было как-то лучше, интереснее.

«Да, так... Ну конечно, вот так! — размышлял Павел, расхаживая по комнате.— Значит, я не один. «...Лишь слову жизнь дана... звучат лишь письма»... Любопытно, что там, в этих письменах, кроме «у кого дети — уйдите!», еще есть? Интересно...»

— А у вас тут хорошо! — вдруг сказал он, останавливаясь около окна, из которого был вид на лагерь.— В прошлом году, когда с экспедицией на Алтай ездили, мы тоже жили в палатках. Ночью как-то пришел мед-

ведь. Мы испугались, думали — на нас, а завхоз сказал, что это он сыр почуял. Знаете ведь, у сыра бакштейн какой силы запах! Полтораста лошадиных сил, не меньше!.. Масса цветов, помню, было. Просто на километры видно... Да... А Никодимцев о детях ничего не знает! — неожиданно и весело добавил он, отходя от окна.

Лейтенанту все еще казалось, что вчера и сегодня говорили о разных лицах, но он не отозвался на слова Павеличева: в конце концов, тому виднее. Он только как человек военный легко догадался, что действия двух сил, наступающих в одном направлении, должны быть согласованы. Он и сказал это своему гостю.

— Ну конечно! Конечно! — тотчас подхватил Павеличев, останавливаясь среди комнаты и поглядывая то в окно, то на лейтенанта.

«Однако где же его найти?» На столе у дежурного увидал два телефона. «Ах, да, я же ему сегодня утром заказывал пропуск в лабораторию!»

— Какой тут у вас городской телефон? — спросил он, быстро направляясь к столу.

Секретарша из лаборатории словоохотливо сказала, что Никодимцев был тут в десять часов утра, смотрел опыты с цементацией старого бетона и полчаса назад ушел. На недовольный и наивный вопрос Павла: «Куда?» — она незастенчиво пошутила: «К сожалению, он не доложил...»

— Удивительно, как этот человек везде поспевает! — сказал Павеличев, еще вспомнив вчерашнюю поездку Никодимцева в совхоз.

Тут же подумал, что и он, Павел, сегодня тоже должен много успеть: ведь завтра открытие шлюза, надо приготовиться к съемке.

Громко стуча по дощатому полу, вошел высокий сержант и, отпрапортовав, передал дежурному бумагу, крупно исписанную лиловыми чернилами. За эту минутную паузу Павеличев решил: если от подготовки останется время, то из своей гостиницы он позвонит в обе городские гостиницы и, может быть, что сомнительно, застанет Никодимцева в номере. Если нет, постарается найти его завтра на открытии шлюза. Или так: зайти сегодня к Лизе, так как возможно, что Никодимцев при его стремительности уже настиг детей майора...

Вслед за уходом сержанта и Павел стал прощаться. Лейтенант, довольный тем, что посетитель видел, как

хорошо вошел его сержант, как правильно и умно он от-
рапортовал, охотно выслушал несколько раз повторенное
гостем «спасибо» (хотя неизвестно, за что) и даже про-
водил его до двери.

— А о детях вы Никодимцева не так поняли! — ска-
зал Павеличев на пороге.— Майор ведь не выполнял
приказ, а сам отдавал его...

Глава седьмая

НЕКИЙ МАЙОР

1

Перед Аверьяновым, парторгом стройки, как перед
каждым строителем, от руководителей до новичка бетон-
щика, стояло одно: полностью восстановить гидро-
станцию. Сейчас пущенные в ход турбины давали одну
треть промышленного тока, вырабатываемого станцией
до войны. Надо было пустить все турбины и послать
ток окружающим заводам полностью — три трети. Но,
как часто бывало в стране, когда из фашистских
развалин возникала не копия прежнего, а лучшее, бо-
лее совершенное, так и для строителей гидростанции
полной мощностью была уже другая величина, другая си-
ла, а не прежние, успевшие где-то по дороге отстать
три трети.

Это было общей заботой. Дальше шла своя профессия,
свое участие в этом общем.

У Аверьянова же тут было другое. Это, конечно, тоже
было участие в общем деле, тоже своего рода профессия,
но по-особому большая, широкая, охватывающая людей
разных знаний, разного умения. Аверьянов не был уни-
версалом — он не все знал и не все умел, — но он действо-
вал, и уверенно действовал, в той области, где разные
профессии, разные люди сближаются, говорят на одном
языке. Это была область гражданских чувств, стремлений,
любви к Родине.

Область эта, хотя являлась объединяющей, была ве-
лика и разнообразна. Аверьянов как-то подсчитал сде-
ланное им за день — в блокноте было двадцать восемь
зачеркнутых строчек. Тут было все — и труд, и просве-
щение, и воспитание, и жилище, и жизнеустройство, и

долг, и честь, и примирительный суд, и вехи на завтра, на будущее...

Сейчас у парторга сидел Никодимцев и рассказывал о деле, которое родилось у них как-то сообща — Никодимцев надоумил, а Аверьянов подхватил...

Собираясь написать для газеты очерк о прошлом и настоящем гидростанции и просматривая небогатый и разрозненный архив строительства, Никодимцев наткнулся на описание одной работы на плотине, где фигурировал некий майор инженерных войск. Действительно некий, ибо фамилии не было. Возможно, что доброхотный летописец не знал ее или считал, что в эпизоде, который занимал половину страницы в архиве, не к чему было приводить фамилии.

Это, может, прошло бы незамеченным, но, перелистывая архив дальше, Никодимцев через несколько десятков страниц нашел новое упоминание об этом эпизоде на плотине. Судя по стилю, оно принадлежало другому летописцу и было еще более коротким, но живее: тут майор говорил. Правда, говорил только одну фразу: «У кого дети — уйдите!» — но она остановила, заинтересовала журналиста, он за ней что-то почувствовал...

Несмотря на краткость упоминания, тут приводились некоторые фамилии. Но майор был опять некий — «майор инженерных войск». Видимо, и этот и тот летописцы просто не знали его фамилии. И когда через несколько страниц, совсем в другом случае и у другого автора, были старательно перечислены клички собак, помогавших людям, то Никодимцев вначале обиделся за майора, а потом подумал: «Каждый летописец сделал что мог — один знал меньше, другой больше, вот и все».

Но майор уже как-то запал в память, заинтересовал, и Никодимцеву захотелось узнать о нем больше, чем поведал архив. Начать, конечно, следовало с выяснения: кто же это? Хотя папки с бумагами, которые он рассматривал, и считались архивом, но они еще не обветшали, не затянулись пылью. Во всяком случае, на строительстве могли остаться люди, помнившие этот эпизод, или даже кое-кто из участников, а то — наудачу — и сам «майор инженерных войск»...

Никодимцев стал наводить справки то там, то здесь, но ничего нового для себя не узнал. Да, конечно, про тот случай на плотине многие знали. Еще бы — в свое время об этом можно было прочесть в газетах. Но ни

подробности, ни фамилии не были известны. Не говоря уж о том, что за прошедшие годы много людей на строительстве сменилось, но даже и работавшие тогда знали, в сущности, не больше новых строителей. Объяснялось это просто: майор да почти и все немногочисленные участники этого эпизода принадлежали к одной воинской части, которая некоторое время помогала строителям восстанавливать станцию. Жили же военные отдельно, пробыли недолго и когда были отозваны, то с ними ушло все — и участники и подробности. Остались только беглые записи в архиве.

Называли одного лейтенанта Кузнецова, помогавшего тогда майору. У лейтенанта в то время брат работал нормировщиком на строительстве, их иногда видели вместе, поэтому лейтенант и запомнился. Для Никодимцева это было не новостью, ибо фамилия этого Кузнецова упоминалась в архиве. Упоминалась, но для получения сведений о майоре была бесполезна: лейтенант, как и воинская часть, давно отбыл. Называли еще заместителя начальника гидромонтажа Владыкина, который и на восстановлении давно работал и, главное, ближе всех тогда стоял к военным. Но сейчас он был в долгой командировке в Ленинграде. Никодимцев все же не оставил начатое. Поджидая открытие шлюза, почитывая материалы по истории строительства, он продолжал наводить справки о майоре.

...Возвращаясь как-то вечером с диспетчерского собрания вместе с парторгом, Никодимцев сказал:

— К графику этого Чеснокова столько набралось добавлений, что теперь неизвестно, чей же график!

— Общий,— отозвался Аверьянов.

Аверьянов был высок, худощав, с черными короткими усами. Серую фетровую шляпу носил щеголевато — чуть набок, чуть на лоб. Свет от уличных фонарей, проходя сквозь листву лип, мимо которых они шли, узорными пятнами скользил по его лицу.

— Это дело обычное,— сказал он помолчав, и в его ясном, отчетливом голосе послышалась усмешка.— Я вот вчера читал статью одного архитектора. Обижается человек, что на домах, которые строит тот или другой архитектор, нет досок с их именами. Так сказать, дом не подписан...

— А что же, Леонид Сергеевич, верно! — отвечал Никодимцев.— Музыкант, художник свои произ-

ведения подписывают, а дома стоят почему-то анонимные.

— Так у музыканта, у художника все с начала до конца ему принадлежит, а в здании сколько участников! И не все же они исполняют только предписанное, многие и свое вносят. Впрочем, не берусь судить.

— Ну конечно! — подхватил Никодимцев. — Замысел-то, идея его!

— Возможно. Может быть. Но если взять нашу станцию, то тут столько отдельных частных замыслов, инициатив, изобретений, чего автор проекта и предусмотреть не мог, и справедливо было бы всем расписаться, — Аверьянов усмехнулся. — Ну, одним покрупнее, другим шрифтом помельче. И если для росписи взять, например, нашу плотину, то тут и места не хватит, хотя в ней больше чем полкилометра.

— Хватит, — в тон ему отозвался Никодимцев.

Аверьянов, чуть подскочив, сорвал веточку липы и, натягивая листья на губах, стал шелкать ими.

— Да уж, думаю, что хватит! — сказал он и добавил: — Двое уже там расписались. Не сами, конечно, а за них расписались.

Никодимцев, замедлив шаг, вопросительно посмотрел на попутчика.

— Ну, солдаты эти — Зайченко и Бутузов! — ответил парторг.

— А-а... Да, это верно.

— Конечно, верно. Не создавали, так сохранили.

Впереди показался яркий свет входа в кинотеатр. За белой решетчатой оградой, примыкавшей к театру, ходила публика в ожидании сеанса. Садик этот, заменявший летом фойе, был маленький, тесный, и только изредка среди движущихся фигур проглядывали клумбы и газоны.

— Не только дома бывают анонимные, — заговорил Никодимцев, когда они прошли кинотеатр, — но и картины. Так и пишут в путеводителе по выставке: «Художник неизвестен».

— Обычно это что-нибудь среднее, неяркое, — сказал Аверьянов. — Автора настоящего полотна всегда найдут, откроют... А вы почему вдруг об этом?

И Никодимцев рассказал о своей работе с архивом, о майоре, который его заинтересовал.

— Вы вот говорили о разных шрифтах, — сказал он. — Этот вот майор имеет право расписаться на пло-

тине. И не мелким шрифтом. Но не может даже и мелким — нет у него фамилии...

— Еще до приезда сюда на работу,— отозвался парторг,— я из газет знал об этом эпизоде. Тоже как информацию, без фамилии. Но там это хоть было понятно: на фоне общих событий... Но наш архив, конечно, подгулял.

Летний вечер переходил уже в ночь. Справа за крышами домов, где стояло далекое и от синих сумерек вишнево-лиловое зарево от домен, сейчас, при подходе ночи, лиловое в зареве отступало, а вишневое становилось все краснее и краснее.

— У меня есть одна небольшая идея,— своим отчетливым, ясным голосом заговорил Аверьянов.— И я бы вас, Игнатий Львович, попросил о вашем майоре продолжать наводить справки... Да и шрифт тут будет не очень мелкий... Вы ведь и для себя хотели узнавать, так что не специально хлопотать. А я, может быть, вас на след наведу. Попробуйте-ка вы обратиться к одному старику на канатной фабрике.

И он рассказал о некоем Прохорове Авдее Афанасьевиче, который только год назад, уже при Аверьянове, перешел из управления строительства работать в планово-финансовый отдел канатной фабрики. Старик, как передавали, работал на станции со дня ее освобождения от фашистов, помнил людей, которые при нем потом приходили и уходили. С военными, помогавшими станции, он был связан тем, что офицеры обращались к нему, имеющему много знакомых в городе, с просьбой найти на время комнату. Так сам Аверьянов да и другие, что приезжали позже, до окончания постройки жилого дома строительства, около года жил у одной хозяйки в городе, куда его направил этот Авдей Афанасьевич.

2

Сейчас в кабинете парторга сидел Никодимцев и рассказывал. В большом дерматиновом кресле ему было жарко, и он сдвинулся к краю. Высокий, узкоплечий Аверьянов, держась очень прямо, похаживал по зеленой ковровой дорожке, лежащей по диагонали комнаты. Чтобы следить за ним глазами, Никодимцеву приходилось поворачивать короткую, полную шею, и это утомляло его. «Не будь этой зеленой тропинки,— мелькнуло

у него как-то среди рассказа,— он бы сидел на месте».

— ...Хотя я ваш архив и поругивал,— говорил Никодимцев,— но в нем любопытно то, что, с одной стороны, все тут по форме настоящего архива: занумерованные папки, краткое содержание каждой папки, и даже мне встретилось нечто классическое — пожелтевшая бумага... А с другой стороны, сегодня на строительстве находятся живые люди, которые тут и описаны. Вот, например, инженер левого берега Васильевич. Как он придумал открывать донные отверстия. Это интересный во всех отношениях человек. До двадцати лет пахал землю, учиться начал поздно...

— Что это вы так подробно о Васильевиче? — отозвался Аверьянов, идя по зеленой дорожке в угол.— Вижу, он вас порадовал! Ведь он тоже в донных работает... Узнали у него что-нибудь?

— Всем Васильевич хорош, кроме этого! Нет, «майора инженерных войск» он не знал. Разошлись по времени.— Никодимцев, приподнимая и опуская блестящую крышку на чернильнице, посмотрел на парторга исподлобья.— Впрочем,— добавил он,— теперь это, пожалуй, и не требуется. И без него известно...

Аверьянов не дошел до конца зеленой дорожки.

— Узнали? — он быстро обернулся.— Ну что вы, Игнатий Львович, тянете!

Никодимцев снял руку со стола и поудобнее уселся в кресле.

— Ну конечно! — Он широко улыбнулся.— Шувалов Михаил Михайлович.

— Это ваше «конечно» замечательно!.. Ну, рассказывайте!

Никодимцев рассказал, что увиденный им на канатной фабрике Авдей Афанасьевич оказался стариком любезным, приветливым, с хорошей памятью, но не настолько хорошей, чтобы запомнить фамилию человека, однажды обратившегося к нему,— их столько обращалось! Но так, по виду, помнит этого майора: среднего роста, волосы зачесаны назад, в очках. Майор был направлен стариком на улицу Шевченко, дом № 15. В этом доме жила сотрудница управления строительства Клавдия Овсеева. У нее было две комнаты, и в одной из них часто останавливались или командированные, или вновь приехавшие на строительство. Овсеева только просила направлять к ней тихих и одиноких людей. Вот по-

чему старик запомнил, что он майору дал ее адрес. Но эта Овсеева уехала полтора года назад в Харьков, сестра ее Наталья, которая приехала много позже, чем был майор, конечно, его не видела и не знала, поэтому Никодимцеву надлежит обратиться в домоуправление этого дома, — может быть, остались какие-либо следы...

Подробное указание старика, кто и где жил и кто и куда уехал, с последним наставлением обратиться в домоуправление, казалось, должно было привести к хорошему концу. Но бойкий управдом, в черной жилетке, надетой поверх рубашки апаш, заслышав, что некий майор когда-то прибыл в город не один, а вместе с частью, охотно, с явным удовольствием показывая знание законов, заявил: «В таком случае, уважаемый гражданин, военные не прописываются. У них свой учет-с!» Есть ли такой закон или этому в жилетке не хотелось рыться в своих книгах, но только Никодимцев ушел ни с чем.

Так бы фамилия майора и осталась для него неизвестной, если бы Авдей Афанасьевич на всякий случай не дал ему второй адрес: совхоз «Вешний луч», спросить Бутеева. Да, Аверьянов был прав: Прохоров оказался стариком обстоятельным — если не знал главное, то помнил мелочи. Вот, например, этот мимолетный случай с очками...

Узнав, когда совхозные машины бывают в городе, Никодимцев вчера днем отправился в «Вешний луч» и нашел Бутеева. Это человек немолодой, с внешностью старого заводского мастера — неторопливые движения, внимательный взгляд поверх очков. Сейчас он там заведует тракторным парком.

Бутеев рассказал, что в то время он работал на строительстве крановщиком и накануне дня, когда это произошло, стоял со своим краном на плотине и спускал в люльке военных вниз — в донные отверстия. Они то опускались, то поднимались. Внизу, недалеко по берегу, притопывал озябшими ногами человек в лохматой меховой куртке. Он похаживал около треножника. Бутеев догадался, что это кинооператор. Но снимать этому медведю нечего было — люлька стояла на месте. Тут оператора выручил майор — да, тот самый, которого уже описывал старик с фабрики: среднего роста, в очках, с негромким голосом. Оператор завертел своей машинкой, как только майор стал подходить к люльке, а потом снял и весь его спуск вниз.

Бутеев, может быть, и не запомнил бы оператора, но и к нему пришлось обратиться насчет очков...

Часов в шесть вечера, когда смерклось, солдаты пара за парой стали подниматься из отверстий. Последними Бутеев поднял лейтенанта Кузнецова и майора. Лейтенанта он, Бутеев, знал, так как брат Кузнецова в то время работал тут нормировщиком, иногда они показывались вместе. Майор же для крановщика был просто майор — один из военных, которые недавно появились и скоро уйдут.

Как только поднятые вышли из люльки, майор попросил у Бутеева его очки. Но тут же вернул — стекла были не те. Крановщик заметил, что майор чем-то расстроен, и здесь увидел у него в руках разбитые очки. Майор постоял, подумал, поговорил с лейтенантом и, смущаясь, обратился к Бутееву: не может ли он, как местный тут человек, достать у кого-нибудь очки, только на один день, на завтра? Бутеев догадывался, что предстоит завтра, и спросил, какой требуется номер стекол. Майор сказал: «Один, двадцать пять, голубчик! Один, двадцать пять! Я вам сейчас запишу... Устройте, пожалуйста, я вам буду очень благодарен!» Он вынул блокнот и на листке написал...

* * *

Никодимцев не спеша достает плоский бумажник, не раскрывая, вытягивает из него, видимо, уже лежащий наготове листок и равнодушным жестом, который все же получился неравнодушным, кладет листок к парторгу на стол. Тот, взглянув на Никодимцева, берет бумагу в руки. На помятом по краям листе мелким, но отчетливым почерком написано:

*1,25. На один день. Улица Шевченко, 15, кв. 4.
Шувалов Мих. Мих.*

— Гм... адрес, фамилия...— Аверьянов трогает ногтем черные короткие усы.— Пунктуальный, деловой, видно, человек.

— Это щепетильность...— Никодимцев полными пальцами делает какой-то неопределенный жест, будто берется за что-то тонкое, хрупкое.— Должник, видите ли, общается, кто он такой и где в случае чего его найти, чтобы владелец очков не беспокоился.

— Ну, и кто же дал?

Никодимцеву все же хочется, чтобы парторг посмотрел на этот листок не так просто. Не знали, не знали, а вот и фамилия! А тот спрашивает о том, что уже не имеет значения.

Но он рассказал и об этом. Бутееву не сразу повезло. Рассудив, что не на стройке, а в управлении больше будет людей в очках, крановщик пошел туда и, как только видел блеск стекол, доверительно спрашивал: «У вас случайно не один, двадцать пять?» И шел дальше. Он обратился и к кинооператору, который попался ему где-то в коридоре. Тот не носил очков, но Бутеев подумал, что у этого человека, имеющего дело со стеклом, они должны быть. Так крановщик дошел до Авдея Афанасьевича. Тот ответил, что у него 1,50, которые, в сущности, равны 1,25. Но почему об этом речь? Бутеев ответил: «Срочно требуются военному майору, который занимается донными отверстиями». Но на 1,50 Бутеев не согласился, надо искать дальше. Прохоров пошел вместе с Бутеевым, и они нашли нужные очки уже не в управлении, а в столовой, у кладовщицы.

— Ну, в общем, Леонид Сергеевич,— нетерпеливо закончил Никодимцев — Бутеев вручил майору очки, записка осталась у Бутеева. Вот и все, что он мне рассказал.

Аверьянов опять похаживал по зеленой дорожке.

— Грустно, что так много об очках,— помедлив, сказал он,— и мало о майоре. Ведь и вам было бы интересно.

— Ну еще бы! — Полной рукой Никодимцев огладил свою круглую голову и потянулся за папиросами.— Вчера же вечером был в батальоне. Так, на всякий случай: вдруг та же часть или знают Шувалова. Но никаких следов. Вам-то, Леонид Сергеевич, еще ничего,— он кивнул на листок, который еще лежал на столе.— У вас есть все, чтобы внести эту фамилию туда, где есть пробел. Ну, а что у меня в активе? Средний рост, очки, вежливый, тихий... Не разгуляешься! — Он грузно встал, взял соломенную кепку и протянул руку за листком на столе.— Я его возьму, может быть, пригодится...

— Пожалуйста...— Парторг бесшумно по ковровой дорожке подошел, чтобы проститься. Стоял прямой, высокий, вытянув руки вдоль своего тонкого тела.— Все же, Игнатий Львович,— сказал он,— этот листок кое-что дал. И очень хорошо, что вы его достали.

Этого одобрения, которого Никодимцев ждал раньше, сейчас — после того, как он вслух высказал те мизерные сведения, которые он имеет о майоре, и этим невольно убедил себя в их мизерности,— этого одобрения он уже не заметил.

3

Бывают дни, обычные будние дни, которые проходят под каким-то знаком. Таким был день, когда первый «щит-хлопушка» захлопнул со стороны верхнего бьефа одно из донных отверстий. Аверьянов помнил: сначала позвонил инженер Тельниченко, потом Васильович, а потом день шел обычным ходом, но Аверьянов — да, наверное, и все на стройке — твердил про себя: «Захлопнул, захлопнул»... И не надо было бежать, спускаться туда, чтобы представить: большой, длинный коридор наполнен теперь не бешеной водой, а тихим воздухом... Был день и под другим знаком: по всем этажам, по всем комнатам управления ходила трехлетняя Леночка. Ее мать, сотрудница управления, повезла бабушку в больницу, а девочку не с кем было оставить. В управлении каждый занимался своим делом, но все помнили — Леночка тут. Поили ее, кормили, у Аверьянова в кабинете уложили спать.

Особенным был и этот день для Аверьянова. После ухода Никодимцева парторг заглянул к начальнику строительства. И там речь была о неизвестном майоре, получившем сегодня имя: Шувалов. Начальник напомнил и о лейтенанте Кузнецове, его помощнике. Да, конечно, и лейтенант, но о нем знали и раньше, а этого Шувалова узнали только сегодня... Вскоре, вернувшись к себе, Аверьянов звонил по телефону в подсобную мастерскую и опять упоминал имя Шувалова. И потом, когда день пошел большим, сложным, но обычным ходом, время от времени всплывал в памяти щедедушный, в чужих — женских! — очках человек, очень пристально всматривающийся в невидимое... Этого ни Никодимцев не говорил, ни в архиве не упоминалось, но так казалось, представлялось...

Да и не обязанностью ли Аверьянова было понять то решение, которое Шувалов сам себе продиктовал? Ведь это решение было близко и Аверьянову и каждому...

...И вдруг где-нибудь на совещании, или в теплом

шелесте турбинного зала, или у прохладной камеры шлюза слышался далекий, негромкий голос: «Один, двадцать пять, голубчик! Один, двадцать пять!.. Я вам буду очень благодарен». Аверьянов задумывался, хмурился: как ничтожно мало знают они об этом человеке...

В девять часов вечера позвонил из гостиницы Никодимцев и заговорил о том же — о майоре. Голос был шуточный, но беспокойный.

— Вы оказались правы, Леонид Сергеевич, — начал Никодимцев. — Помните, несколько дней назад вы сказали, что «художник неизвестен» бывает только у неяркой картины, а автора настоящего полотна всегда отыщут... Помните?

— Ну, помню... А к чему это?

— А к тому, что тут получилось несколько своеобразно. Не успели мы с вами открыть имя нашего художника, как и картина его оказалась не средней, а настоящей, прекрасной! Дело в том, что у меня сейчас в комнате сидит молодой человек в голубых... в темно-голубых, почти синих... ну, в обычных брюках.

— Игнатий Львович! Я что-то не пойму... И потом, простите, не понимаю вашего тона. Вы что, о Шувалове узнали что-нибудь смешное, веселое? Тогда слушаю.

Какую-то секунду на том конце провода было молчание.

— Это не веселье, Леонид Сергеевич, а радость! — Голос был уже другой, чуть обиженный. — Профессиональная радость, что знаю больше, чем недавно знал. Думал, что и вы тоже... Короче говоря: у Шувалова есть семья, двое детей, и они тут, в Завьяловске.

Теперь замолчал Аверьянов. Неизвестно зачем отодвинул от телефонного аппарата пресс-папье, бокальчик с карандашами, закрыл чернильницу.

— И он с ними? — спросил Аверьянов.

— Нет, он не с ними. Они не знают, где он... но, понимаете, Леонид Сергеевич, как теперь, после этого, звучит та фраза: «У кого дети — уйдите!» Ведь это уже большее!..

Аверьянов поднялся и, натянув шнур, пряча в карман папиросы, спички, договаривал:

— Слушайте, Игнатий Львович! — В голосе его тоже появилось что-то другое. — Не отпускайте, пожалуйста, этого человека в голубых... в обычных брюках, я сейчас на машине быстро к вам!..

ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПОПОЛУДНИ. «ТАМ ПАПА...»

1

На следующий день, в воскресенье, было открытие шлюза. Оно было назначено на четыре часа пополудни, но уже к трем стал стекаться народ на левый берег, где был шлюз, где стоял расцвеченный косыми флажками пароход — первый пароход, который, хитроумно поднявшись на ступень в тридцать метров, должен был обновить восстановленный шлюз.

Хотя все шло, ехало на левый берег, но жизнь и работа продолжались, и по проезжей части плотины, как по мосту, двигались нагруженные грузовики и на правый берег. Это-то и переполошило машины, направившиеся было с правого берега на открытие шлюза и неожиданно оказавшиеся перед закрытым шлагбаумом. Проезд по плотине был пока однопутный, и два шлагбаума — на левом и правом берегу, — переговариваясь по телефону, пускали поток движения то в одну, то в другую сторону. Машины обычно терпеливо ждали, шоферы, скрючившись, как только могут спать одни шоферы, ложились вздремнуть на свои двухместные дерматиновые диванчики. Но сегодня и легковые и грузовые машины ревели перед опущенным шлагбаумом. Еще бы: все — туда, на шлюз, а здесь — поперек дороги какая-то полосатая жердь!

Третьей в очереди гудела сиреной машина киногруппы Геннадия Тихоновича. Лариса в комбинезоне песочного цвета, с большим зеленым целлулоидовым козырьком на лбу, бросавшим на лицо зеленый свет, стояла в кузове и узкими, злыми глазами следила за пожилой сторожихой, которая за шлагбаумом, сидя на скамейке около своей дощатой будки, мирно вязала спицами не то чулок, не то шапочку.

— Нет, это черт знает что! Вяжет! — Криво изогнувшись, Лариса наклонилась к кабине, где рядом с шофером сидел руководитель группы. — Геннадий Тихонович, может быть, вы с нею поговорили бы! Другие если опоздают, это ничего, но у нас же работа!

— Не опоздаем! — донеслось из кабины. — Сейчас только пять минут четвертого.

— Но цветники уже там!

— Не уверен. Они должны были еще заехать на телеграф.

Лариса вернулась к своему месту в кузове и взглянула на Павеличева и на высокого оператора Перелешина, тоже с беспокойством посматривавших то на часы, то на опущенную полосатую жердь.

— Он не уверен! — кривя губы, негромко сказала она. — А я уверена, что они там и расхватают наши точки!

— Ты опять за свое? — проговорил Павеличев, однако встал и, опустив зеленый козырек на самые брови, стал глядеть через шлагбаум на дорогу к аванкамерному мосту, к плотине.

Нет, встречные машины еще не показались.

Переступая через треножники и аппараты, лежащие на шершавом полу кузова, Лариса походила туда-сюда и, наверное, краем глаза опять увидела чулок в руках спокойной сторожихи. Она вдруг легко перемахнула через борт и, встряхивая рыжими волосами, которые удерживала резинка от козырька, побежала к полосатой жерди. Там уже был кое-кто из шоферов и публики, но она, потеснив всех, проникла туда, к этим невозмутимым спицам. Послышался ее голос, сперва негромкий, потом все сильнее и сильнее. Молчаливый долговязый Перелешин, прислушавшись к голосу, сказал:

— Ничего у нее не выходит.

— Да и как может выйти! — сказал Павеличев. — Со встречными машинами мы ведь на плотине разъехаться не можем.

— Ну, мало ли... Как-нибудь проскочили бы. Нет, надо пойти ей помочь. И знаешь что? Захватим с собой кое-что.

— Зачем?

— Ну, так... солиднее.

Вскоре перед сторожихой стояли трое. У всех были загадочные, просвечивающие зеленым цветом козырьки — одни козырьки, без фуражек, — и еще что-то в руках, чем они потрясали. Треножник у одного — это легко было понять, а вот у другого какой-то серебристый предмет, кое-где сучковатый от толстых коротких трубок.

Старуха, опустив наконец чулок со спицами и встав, сказала ровным, наставительным голосом:

— Пока машины с того берега не пройдут, эти не пойдут!

Но тут перед шлагбаумом послышались крики, шум, шоферы побежали по своим местам. Сторожиха обернулась к плотине. Блестя ветровыми стеклами, показались идущие гуськом встречные машины.

На большой скорости, нестерпимо пыля, они прошли под шлагбаумом. Пыль еще не осела, как сбоку, быстро и лихо зайдя в голову ожидающей колонне машин, появился бурый обшарпанный грузовичок, который тут же и открыл движение к шлюзу. Когда выехали из пыли, Лариса заметила на нем чернобородого Харитонов, и тот, тоже узнав ее, помахал ей приветливо рукой.

— Видали? — Лариса, сняв через голову козырек, устало присела на один из ящиков с аппаратом. — Цветники все-таки прорвались!

Павел рассмеялся. Они ждали, волновались, бегали к сторожихе, а эти прямо с ходу поехали — и первыми...

2

Пригласительный билет на открытие шлюза был только у Всеволода Васильевича, но, по словам приглашенного, это ничего не значило и пойдут они все вчетвером.

— Билет ведь только на место у третьей камеры, где пароход после шлюза выйдет на свободу, — сказал дядя Сева, — а так публика будет стоять по всему шлюзу. Да, вообще народу будет уйма.

— Но ты пойдешь к третьей камере, а нас туда не пустят! — сказала Софья Васильевна.

— Ну и что же, мама, — вмешалась Лиза, — будем стоять в другом месте. Не маленькие, не потеряемся.

Всеволод Васильевич посмотрел на Лизу. Ему послышалась в ее голосе какая-то обида, а вместе с тем она будто поддерживала его. И он поспешил сказать:

— Да я и не собирался идти к третьей камере без вас! Неужели это такое зрелище, что я вас бросил бы? — Он, помедлив, стал шарить по карманам. — Мы сейчас вот что сделаем... вот что мы сейчас устроим... Как говорится, «чтоб не было разлада между вольными людьми...»

Билет с голубой каймой был найден в боковом кармане. Всеволод Васильевич вытащил его, разорвал на четыре части и, горьким басом приговаривая: «Волга-Волга, мать родная, нá, красавицу прими!» — подошел к открытому окну и выбросил клочки билета в сад.

Софья Васильевна и Лиза рассмеялись.

— Глупо, Сева,— сказала Софья Васильевна,— ей-богу, глупо! И все это из-за нас!..

В то мгновение, когда он рвал билет, Лиза почувствовала какую-то долю и своей вины. Но сейчас она забыла про это. Сияя глазами, Лиза подбежала к Всеволоду Васильевичу и порывисто обняла его.

— Какой ты хороший, дядя Сева! Какой хороший! — приговаривала она.— И я бы так сделала!

— Ну, довольно глупости говорить! — Всеволод Васильевич был смущен и потому старался отстранить Лизу.— Тут все очень просто объясняется. Если бы у меня остался билет, то твоя мать меня замучила бы. «Иди на третью камеру и иди!» Женщины ведь пунктуальны. А теперь я вольная птица, где хочу, там и буду...

Это было первое воскресенье, которое Шуваловы проводили в Завьяловске. Оттого, что брат остался дома и неприкаянно ходил по комнатам, Софья Васильевна не знала, чем ей заняться, с чего начать. А вместе с тем надо было приготовить ранний обед, чтобы успеть к шлюзу.

Но, как только брат, забрав полученные журналы и газеты, ушел в сад и в комнатах стало тихо, тотчас возник распорядок дня: она готовит обед, Лиза убирает комнаты, Витя идет в булочную и в овощную лавку.

И работа пошла. Но через час она остановилась. Вместе с Витей, встретившись с ним на пороге, вошла с улицы какая-то худощавая, в синей косынке женщина и, спросив: «Кто тут Се Ве Шувалова?» — передала Софье Васильевне конверт. Потом закурила от плитки тоненькую папироску и, сказав, что на рынке сегодня битой птицы много, быстро ушла.

В конверте оказались три билета с голубой каймой, с надписанным от руки: «С. В. Шуваловой», «Е. М. Шуваловой» и даже для Вити — «В. М. Шувалову». Софья Васильевна перевернула конверт — там был гриф управления строительства гидростанции. Да, конечно, шлюз принадлежит станции, но почему вдруг им присланы билеты?

Дети стали спрашивать, что это такое, но Софья Васильевна направилась с билетами в сад — Лиза и Витя пошли за ней следом,— где на разостланном одеяле, с разбросанными газетами и журналами, лежал брат.

— Это ты хлопотал, что ли? — спросила она, присаживаясь и протягивая билеты.— Сейчас вот курьерша принесла.

Всеволод Васильевич, приподнявшись на локте, взял билеты и, быстро перебрав их, усмехнулся.

— Смотрите! Даже «В. М. Шувалову»! — Оттолкнувшись рукой, он сел на одеяло и проглядел еще раз билеты. — Нет, ей-богу, не я. Да и как я мог хлопотать! Чужое ведь учреждение...

И он, как карты, роздал билеты — сестре, Лизе, Вите.

Как только Лиза прочла, что это пригласительный билет на шлюз и тоже на третью камеру, она, не задумываясь, откуда этот билет, волнуясь, спросила:

— А как же ты теперь, дядя Сева? Ну, хочешь, мы... я тоже... порвем это все? И пойдем куда хотим... — Она покраснела от мысли, что он может не поверить ей, и потому быстро, двумя руками взялась за середину своего билета.

Но Всеволод Васильевич остановил ее.

— Ну, что ты! — сказал он. — Мне как раз захотелось быть именно у третьей камеры. И у меня есть возможность: я думаю, что «Ве Ме» меня проведет.

— Ну конечно! — тотчас отозвался Витя. — Я пройду первым, осмотрю забор, где доски расшатаны, дам два свистка, и ты быстро беги ко мне.

— Прекрасный план! Одно, Витенька, плохо, что там нет забора.

— А-а, там одни контролеры. Тогда я скажу, что ты идешь со мной, как дядя.

— Вот это лучше! Ты можешь меня даже держать за руку, тем более что там будет толпа и меня могут затолкать... — Всеволод Васильевич дотянулся до Витиной ноги и, ухватив ее, повалил мальчика на себя. — Ну, а теперь скажи, — щекоча, он катал его по одеялу, — нет, нет, теперь ты скажи: кто тебе прислал билет? Кто знает, что в Завьяловск прибыл всемирно известный «В. М. Шувалов»?

Визжа, Витя откатился подальше от рук дяди Севы, сел на траву с перекошенным воротом белой рубашки, с травинкой, косо приставшей к веснушчатому носу, и, передохнув, сказал:

— Это Глебка... Я сказал Глебке, что хорошо бы поближе посмотреть, как пароход застрянет в шлюзе... Мы уже видели, примерили: шлюз узкий, а пароход, конечно, широкий. Когда он застрянет, тогда можно сверху легко на него спрыгнуть. Там невысоко... Вот

Глебка и сказал своему отцу про меня. У него отец ведь старший арматурщик на плотине! Вот и прислали билет...

3

Было половина четвертого, когда Наталья Феоктистовна вышла из дому. Жара чуть спала, желтая, знойная дымка на небе стала отходить, проступила голубизна. Наталья Феоктистовна осмотрела небо: не будет ли дождя; на ней было палевого цвета платье, белые туфли, и она не взяла ни плаща, ни зонтика. Нет, воздух был тих, спокоен. Когда вышла к реке, потянуло прохладой, как бы прослоенной струями жаркого воздуха, который то касался лица, то рук. Появились легкие бурые дымки мошкары. Они повились вокруг и отлетели. Наталья Феоктистовна улыбнулась: гвоздичное масло, которым она протерла лицо, пока действует.

С высокого берега открылась широкая панорама и реки, и плотины, и шлюза. Сегодня все ближнее к этому берегу, к шлюзу было неузнаваемо от пестроты одежд, от неуловимого, как бы на одном месте, движения этого тысячного скопища.

Невнятный, но неумолчный гул толпы стоял в воздухе.

Вскоре и Наталья Феоктистовна была среди толпы.

Здесь, как на гулянье, среди тележек с газированной водой и мороженым прохаживалась стайками и парами молодежь, среди которой выделялись густым каштановым загаром девушки со строительства. На работу они ходили налегке, а сейчас были в шелковых чулках, в платьях с длинными рукавами, но и сквозь чулки и рукава проступал загар.

Наталья Феоктистовна набрела на группу людей. В середине находилась сухощавая женщина в просторном черном комбинезоне, перед которой на треножнике стоял киноаппарат, а в двух-трех шагах от него очень полная и крайне смущенная девушка с большим букетом в руках.

Овсеева признала в девушке Нину Ельникову из управления строительства и, улыбаясь про себя, пожалела ее: конечно, так вот сниматься на народе очень неловко.

Операторша властным голосом попросила Нину, не оглядываясь на аппарат, пройти к тележке с газированной водой и выпить воды.

Неловкой, какой-то смятой походкой, судорожно

прижав букет, бедная Нина тронулась в путь. Тотчас, легко и изящно изогнувшись, женщина в черном комбинезоне повела глаз урчащего аппарата следом за толстой девушкой. Не то газировщица постаралась, не то такова была инструкция, но на железном столе тележки ждали Ельникову три налитых стакана воды.

— Вот это Наталья Феоктистовна и есть! — услышала Овсеева сзади себя голос.

Она обернулась и увидела Всеволода Васильевича в белых брюках и с белым пиджаком в руках, девушку, которую встретила на фабрике, на лестнице, и рядом с ними немолодую, но еще привлекательную статную женщину в синем костюме и мальчика, тут же побежавшего к киноаппарату. Они были чем-то оживлены, улыбались, и Овсеева поняла, что Всеволод Васильевич, обычно не очень с нею храбрый, сейчас из-за общего оживления так смело, непринужденно обратился к ней.

Наталья Феоктистовна почувствовала, что Софья Васильевна неприметно разглядывает ее. Она усмехнулась про себя: у нее сейчас появилась такая же походка, как вот была у Нины Ельниковой. Тут она вспомнила про письмо сестры и даже обрадовалась: теперь легче, свободнее будет. Пропустила вперед Всеволода Васильевича и Лизу и пошла рядом с Софьей Васильевной.

— Дало ли вам то письмо что-нибудь новое о вашем муже? — спросила Наталья Феоктистовна.

— Да, спасибо... Во всяком случае, известно, где он тут жил, хотя и временно...

Наталья Феоктистовна стала рассказывать, что она пыталась расспросить по дому, но многие жильцы еще находились тогда в эвакуации, а те, кто был, знали только, что у сестры останавливаются всякие командированные и военные, вот и все... Спрашивала и в домоуправлении — может быть, известно, куда человек выехал. Но там ответили, что военные часто не прописываются и, уж конечно, не извещают, куда направляются...

Софья Васильевна вежливо поблагодарила ее за хлопоты.

— Буду рада, если вы зайдете ко мне, посмóтрите, — сказала Наталья Феоктистовна. — Хотя, конечно, никаких следов...

— Спасибо! Я собиралась просить вас об этом.

Нет, разговора не получалось с этой ставшей вдруг замкнутой женщиной. Наталья Феоктистовна обрати-

лась к впереди идущим Лизе и Всеволоду Васильевичу, и разговор стал общим.

...Да, Софье Васильевне не хотелось говорить о письме. Оно было написано чужим человеком — и спасибо ему, — но касалось тех чувств, которыми она не привыкла делиться. Как когда-то она одна, не ища участия, пережила март сорок четвертого года и позже отголосок — строку в газете: «Вечная слава...» — так и теперь ей не хотелось, чтобы кто-то посторонний, хотя, видимо, и милая, добрая женщина, обсуждал это.

В письме она нашла то, чего другой бы и не увидел, не почувствовал. Посторонний человек, какая-то Клавдия, говоря на ходу, мельком, вдруг словно осветила далекое. Так, например, слова в письме: «Волосы зачесаны назад...» И вот чужие слова вызвали образ Михаила не только последних лет, но и давнишних, молодых, когда они познакомились, — с тех студенческих еще лет носил он так волосы... Слова в письме «обходительный» и «сразу наступила тишина» напомнили тоже уже привычное в их прошлой жизни, незамечаемое...

И в то же время еще острее ощутилась утрата. Да, она пойдет в тот дом, но что найдет там? Пустые стены...

4

Вода в шлюзе, затененная стенами камеры, была черная, как в колодце, и, как из колодца, от нее, несмотря на жаркий день, тянуло холодом.

Шлюзование начиналось.

Расцвеченный косыми флажками белый пароход «Руслан» осторожно вошел в первую камеру. Тотчас белые бока парохода, цветные флажки, матросы, стоящие у поручней, отразились в черной воде. Так многому надо было отразиться, что на водной поверхности камеры не хватило места. Отображения тесно жались друг к другу, стараясь даже подняться с воды по стене камеры, но бетонная, шершавая, глухая к ним стена не принимала их.

— Ворота пошли! — сказал Всеволод Васильевич.

Лиза перехватила его взгляд и увидела две мощные дугообразные тяжелые створки, которые, отделившись от берегов камеры, медленно, не тревожа отражения в воде, пошли навстречу друг другу. Они замкнулись позади «Руслана», как бы поймав его в ловушку. Тотчас вода через

невидимые отверстия в камере стала прибывать и поднимать на себе пароход. Он увеличивался в размерах.

— Ворота пошли! — оглянувшись на дядю Севу, сказал Витя значительным голосом.

У вторых ворот, перед второй камерой, сейчас было обратное движение — они открывались. Створки разомкнулись и плавно пошли к берегам шлюза. Когда они разошлись, Лиза с удивлением увидела, что уровень воды во второй камере такой же, как теперь стал в первой. Пароход через открытые ворота медленно двинулся влево, ко второй камере. Тотчас вокруг раздался многоголосый гул, одобрительные вскрики — половина пути была пройдена!

Дядя Сева и Софья Васильевна с детьми вслед за пароходом тоже стали передвигаться ко второй камере. Овсева, еще раньше встретив какую-то свою подругу, отошла от них, и теперь ее палевое платье мелькало где-то впереди, в толпе. Всеволод Васильевич поскущел, отвечал рассеянно...

Медленно пробираясь среди отмахивающихся от мошкеры людей, они набрали на чернобородого кинооператора с молодым, безусым помощником, которые, урча своим аппаратом на треножнике, пропускали мимо себя пароход и сейчас, коротко переговариваясь, почему-то очень внимательно ловили проходящую мимо них корму с развевающимся флагом.

Лиза вспомнила о Павеличеве и поискала глазами коричневую куртку. За эти три дня он уж что-нибудь да узнал! Да и надо ему сказать про улицу Шевченко, № 15 — для нее с мамой это опустевшее место, а для него может быть важно.

— Ты посмотри, куда люди забрались! — сказала Софья Васильевна.

Лиза взглянула в ту сторону, куда ей показала мать, и увидела высокий и могучий железный остов, напоминающий стол на четырех ногах, стоящий наверху последних бычков плотины. Она знала еще со дня прогулки с Павеличевым, что это порталый кран. Но тогда кран был в работе, — черный и страшный, ходил поверх бычков влево и вправо; сейчас же, придвинувшись как можно ближе к шлюзу, он стоял разнаряженный флажками. На вершине его, как по столу, похаживали небольшие фигурки людей. Среди них Лиза различила девушку с развевающимися по ветру рыжими волосами,

стоящую около киноаппарата. «А Павеличева и тут нет!» — подумала она.

Но как только она перевела взгляд на шлюз, то увидела в конце его решетчатую, почти вертикальную стрелу другого крана и на верхушке его Павеличева. Он был одет во что-то темное и, удобно примостившись, сидел на перекладине, как на ступеньке лестницы, пока в бездействии, в ожидании. Ниже его, на середине стрелы, тоже чего-то поджидая, сидел другой оператор.

Пароход меж тем прошел вторую камеру и сейчас входил в третью. Когда Всеволод Васильевич и Софья Васильевна с детьми подошли к пароходу, там уже стояло столько народа, что пройти было нельзя. Витя, держа свой билет наготове, искал глазами контролера и не мог найти — все стояли к нему спиной, совсем не по-контролерски.

— Ну, Вить, ты обещал меня провести,— сказал Всеволод Васильевич,— так действуй!

Витя вздохнул, покосился на него и, засопев носом, стал протискиваться вперед. Но дядя удержал его. Софья Васильевна неодобрительно посмотрела на брата.

— Ты так дошутишься, что он тут потеряется! — сказала она, отмахиваясь платком от мошкары.— Вообще нет смысла туда, в сутолоку, пробираться. Тут хоть воздух, а там в жаре да в толпе...

— Ну, а как же, мам, билеты? — обиженно спросил Витя.

— Ну, так и билеты... Оставь себе на память.

Они отошли даже чуть назад, ближе к перилам.

На той стороне шлюза Всеволод Васильевич увидел палевое платье и невольно стал следить за ним. Сестра, заметив его внимательный взгляд, посмотрела в ту же сторону.

— А ты знаешь, она ничего, хорошая! — тихо сказала Софья Васильевна.— Конечно, мы тут мельком увиделись, но, по-моему, хорошая.

Было видно, что ему приятно это, он даже невольно кивнул головой, как бы вполне соглашаясь, но тут же скосил взгляд на сестру.

— Насчет полушалков, матушка, я тебя предупреждал! — сказал он.— Они в продажу еще не поступали. Помни это!

— А ты уже справлялся? И то хорошо: значит, шаг вперед...

Меж тем около третьей камеры все придвинулись к перилам: сейчас будут последние ворота. На дощатую, обтянутую кумачом и пока пустую трибуну, застенчиво улыбаясь, стали подниматься женщины с детьми. Это надоумило и других матерей и отцов — у перил из-за чужих спин детям ведь ничего не видно. Вскоре на трибуне были только одни дети — взрослые спустились вниз и стояли около, поглядывая наверх: не упали бы. Но дети, подняв руки над головой к высоким для них кумачовым поручням, держались крепко.

«Руслан» стоял в последней камере, у последних ворот, ведущих на простор реки. Операторы на портале на кране и на кране, стоящем на выходе из шлюза, приготовились.

Павеличев, правым плечом привалившись к стреле крана и просунув руку в ее железные переплетения, держал перед собой серебристый аппарат, нацеленный на середину ворот. Он висел над рекой, над людьми, но был не одинок — в стороне, но еще выше его, на портале на кране, тоже нацелившись, застыла маленькая отсюда Лариса. Под ним на той же стреле примостился «цветник». Павеличев вдруг почувствовал то воодушевляющее, веселящее дух товарищеское единение, которое бывает у людей, занятых одним делом.

Отсюда, с вершины стрелы, открывался широкий вид на праздник. Среди шума, движения, пестроты платьев молча и многозначительно поблескивали на солнце никелированные трубы духового оркестра. Большой, добродушный бас-геликон светился ярче всех. Павел — который уж раз! — повел взглядом по перилам шлюза, надеясь увидеть Лизу, но это было невозможно — столько лиц... Он вспомнил вчерашний разговор в номере у Никодимцева, приезд в гостиницу Аверьянова — вот бы и ей знать...

По невнятному гулу толпы Павеличев догадался: началось. Он приник к аппарату.

Между створками ворот показалась узкая, сверху донизу, щель. Она стала медленно расширяться. Толстые, тяжелые ворота, разделившись надвое, плавно пошли к берегам камеры, чуть бороздя темную поверхность воды, тихую, спокойную, отражающую небо, облака. «Руслан» вспенил сзади себя воду и, дав гудок, тронулся вперед.

Как только он прошел распахнутые ворота и корма его оказалась за камерой, раздалось дружное «ура» и, чуть запоздав, грянул оркестр.

«Руслан», давая веселые гудки, вышел на простор реки и, прибавив ходу, стал удаляться. Матросы, сгрудившись у кормы, махали фуражками, руками — прощались со шлюзом.

Павеличев подождал — не мелькнет ли на пароходе в последний момент что-нибудь интересное — и опустил аппарат. Посмотрел на порталный кран — Лариса тоже собиралась уходить оттуда. Спускаясь по стреле, он повторял про себя неизвестно откуда появившуюся фразу: «Первый пароход проходит восстановленный шлюз». Но, услышав в своем голосе какую-то напыщенную интонацию, улыбнулся: ведь так диктор будет читать текст перед этим кадром.

6

Музыка продолжала играть. Дети с трибуны потянулись к оркестру. И вовремя: к трибуне подходили четверо — секретарь обкома, представитель министерства, приехавший на открытие шлюза, начальник строительства и Аверьянов.

Поднявшись на дощатый помост, невысокий, с худощавым лицом представитель министерства положил на кумачовые поручни серо-зеленый плащ. Стоящий крайним, Аверьянов сделал знак рукой, и оркестр смолк.

— Товарищи! — произнес представитель, и тотчас рупоры во всех концах громко повторили: «Товарищи!»

Представитель заговорил о человеческом труде, благословенном в лагере мира, и о труде в другом лагере, где труд простых людей не приносит им ни славы, ни чести, ни уважения. Незамечаемый, он напоминает о себе только тогда, когда прекращается. Представитель министерства привел известные из последних газет сведения о забастовках и стачках на Западе.

После него говорил начальник строительства Лазарев. Осанистый, в широком светлом костюме, он с озабоченным лицом подошел к микрофону. Лазарев тоже собирался начать речь о лагере мира и лагере войны, но теперь, после представителя министерства, надо было об этом или очень коротко сказать, или совсем не говорить. И, подходя к микрофону, он еще не решил, как

начнет речь. Но, увидев в первых рядах стоящих около трибуны нарядных Жевелева, Панайотова, Борисенко, Ляпунову — прославленных строителей шлюза — и еще сотни честных, умных, преданных своему делу людей, он понял, что надо начать прямо с них.

Он и начал с них, поблагодарив за труд, за воодушевление, за мужество, за хозяйский интерес...

Тотчас после аплодисментов в разных концах толпы слышались какие-то возгласы, смех, шум. За толпой и вблизи трибуны стали взлетать подбрасываемые фигуры. Оркестр заиграл туш.

— Кого это качают? — спросил приземистый, с запавшими глазами секретарь обкома.

И Лазареву и Аверьянову нелегко было ответить: люди появлялись в воздухе с поднятыми руками и ногами и тут же пропадали...

— Это, Иван Капитонович, вон Нюша Ткаченко взлетает! — сказал Аверьянов, показывая секретарю обкома вправо. Он ее узнал только по рыжим локонам. — Пришла из колхоза и в бригаде бетонщиков сразу выдвинулась. Чуть левее, вон, посмотрите, пикирует Васильевич — инженер левого берега. Только по трости в руках и можно догадаться.

Оркестр смолк, стихло и в толпе. Аверьянова кто-то снизу тронул за ногу. Он с трибуны посмотрел вниз — это был Гриша Горелов, секретарь бюро комсомола левого берега.

— Леонид Сергеевич! — негромко сказал он, поднимая голову вверх. — Тут кое у кого дети потерялись, родители вот просят объявить по радио, — кивнул он на женщин и на одного высокого мужчину, группкой стоящих невдалеке.

И у женщин и у мужчины было какое-то одинаковое выражение лица, и они дружно, виновато улыбаясь — прерывают вот праздник! — закивали головами, когда Аверьянов посмотрел на них. Парторг, придерживая у колен брюки, пригнулся и взял у Гриши бумажку с записанными именами.

— Внимание! — сказал он в микрофон. — Валю Найденову, Борю Глазунова, Игоря Величко, Петю Фурначева просят подойти к трибуне. Тут их ждут родители. — Аверьянов переглянулся с Лазаревым и добавил: — Также просят подойти к трибуне Софью Васильевну Шувалову с детьми.

Грузный Лазарев, боком проходя к микрофону, чтобы объявить о выступлении Аверьянова, тихо сказал ему:

— Кстати получилось!

Аверьянов не торопясь установил головку микрофона по своему высокому росту и снял шляпу, открыв небольшие залысины на широком, не загорелом лбу.

— Товарищи! — проговорил он, проводя рукой по коротким черным усам. — Мне осталось сказать очень немного. Вслед за аванкамерным мостом, за окончанием основных работ на плотине, вслед за пуском первых турбин мы сегодня сдаем народу новое наше произведение — шлюз. И когда водрузился на место аванкамерный мост, и когда побежал по проводам первый промышленный ток, и сегодня, после шлюза, мы отмечаем и отмечаем лучших наших строителей. Это не долг, это не обязанность — это радость. Искренняя, от всей души радость и гордость за наш рабочий класс, за нашу интеллигенцию... Но мы не должны забывать и тех, кто пришел сюда раньше нас, кто с риском для жизни отстаивал от врага это детище первых наших пятилеток. Я говорю о Советской Армии. Их было, конечно, много, солдат и офицеров, сражавшихся за нашу гидростанцию... Но мы знаем четыре имени, четверых людей, благодаря мужеству и находчивости которых уцелела наша красавица плотина. Да, уцелела! Враг задумал снести ее начисто, и на месте плотины была бы гладь реки или новый бурлящий порог... Но нет, плотина уцелела! Она вернулась к нам израненной, но живой...

* * *

Отмахиваясь соломенной кепкой от налетавшей мошкеры, Никодимцев стоял недалеко от трибуны и, слушая Аверьянова, поглядывал на тесный проход между киоском и тополем, где было какое-то движение — кто-то уходил и приходил. Из прохода появился мальчик, потом остроглазая, смешливая девочка в белых носочках. Они подбежали к матерям, все еще группкой стоящим около трибуны. Появлялись и взрослые, но не было женщины с двумя детьми.

Когда Аверьянов, говоря о каждом из четырех защитников станции, дошел до лейтенанта Кузнецова Алек-

сея Христофоровича, стоящая рядом с Никодимцевым девушка в кирзовых сапожках и с голубыми сережками в ушах не то шумно вздохнула, не то что-то сказала. Карие круглые, вдруг засветившиеся глаза ее искали участия.

— А Кузнецов-то это, наверное, наш! — быстро сказала она Никодимцеву и тут же перевела взгляд на другого соседа, чтобы и ему сообщить это.

— Ну, фамилия распространенная! — буркнул Никодимцев и, заметив в проходе Павеличева, пошел к нему.

Он спросил у него, не видит ли он тут где-нибудь Шуваловых. Павеличев, тоже слышавший приглашение по радио, оглядел широкий круг людей, окаймляющий трибуну, и, не найдя ни Лизы, ни ее матери, сказал: нет, не видит. И, перекинув тяжелую сумку с аппаратом, пошел к трибуне.

Меж тем люди с трибуны стали спускаться, и возле плоского постаменты, на котором стояло что-то высокое, в светло-зеленом чехле, началось оживление. Несколько рабочих в брезентовых робах, разведя руки, стали теснить, расширять круг зрителей, стоящих около. Двое рабочих вытягивали какой-то шнур, идущий от чехла.

Последним с трибуны сходил парторг, и Никодимцев заметил, как к нему несмело подошла та девушка с голубыми сережками, которая заговорила о лейтенанте Кузнецове. Сейчас с нею были еще девушки и паренек в черном новом костюме и в желтых ботинках. Они втроем обступили Аверьянова. И оттого, что девушка теперь была не одна, Никодимцев подумал: «А может, правда?» Он тут же вспомнил, что парторг ведь называл не только фамилию, но и имя и отчество.

Он взглянул на проход между киоском и тополем, где появилось много новых людей, но тех, кого он поджидал, не было, и пошел к Аверьянову.

Оркестр играл тихий вальс. Яснее всех была слышна флейта, которая тонким пунктиром выносила мелодию все выше и выше. На предвечернем небе еще больше появилось синевы, а белые облака, охотно приплывшие на остывающее небо, спокойно подставляли свои пухлые тела под красное, уже не жаркое, близкое к закату солнце.

Третья камера, где играла музыка, куда у Вити был билет, манила его. И он наконец отпросился — ну как-нибудь проберется, не раздавят его, не маленький. Осмотревшись, Софья Васильевна показала ему на столб с крупными коричневыми изоляторами, недалеко от которого они теперь стояли, и приказала Вите вернуться к этому месту.

От скопления людей, от безветрия было душно, трудно было стоять не двигаясь. Но музыка впереди привлекала, и народ около второй камеры стал постепенно редеть. Оставшиеся, расстелив газеты, с удовольствием сели на землю. Всеволод Васильевич хотел выбрать место подальше, на траве, но Софья Васильевна, вспомнив про Витю, попросила от столба с коричневыми изоляторами далеко не отходить. Они уселись тут, а Лиза сказала, что она пойдет поищет Павеличева, который, она видела, уже сошел с крана. Софья Васильевна и ей показала на столб.

— Из тебя, Сонечка, хороший бы штурман вышел, любишь ты ориентиры! — уже отходя, услышала Лиза.

Начало речей застало ее на первой камере. Тут тоже было много сидящих на газетах или прогуливающих по свободным уже дорожкам. Лиза подходила к группам людей, думая, что люди сгрудились около кинооператора, — может быть, Павеличева, — но это были просто так группы. Одна группа, рассматривавшая первую камеру, привлекла ее внимание своеобразными расцветками костюмов. Кто-то рядом сказал, что это делегация зарубежных крестьян, только что приехавших на поезде. Среди них почему-то находился тот Кузнецов, которого она видела у дяди Севы на фабрике. Сделав круг, Лиза заметила чернобородого оператора, который недавно снимал пароход в первой камере. Он направлялся к грузовикам, стоявшим в стороне. Взяв из кузова одной машины что-то продолговатое, он быстро пошел к третьей камере.

Лиза остановилась около мороженщицы, которая жестяной формочкой ловко выбивала кругляшки мороженого с вафлями, похожего на толстые деревянные колесики от кукольных колясок. Она купила мороженого и, присев на траву, стала есть и слушать, что говорил рупор на дереве. Слушая, она посматривала в сторону гру-

зовиков,— может быть, и Павеличев за чем-нибудь сюда придет.

Рядом, выставив из-под широкой, по-старомодному нарядной юбки начищенные башмаки, сидела старуха в белом платке в черный горошек и опрятно, со вкусом ела мороженое с булкой.

— Ты мне, девонька, вот ответь,— сказала она, взглянув на радиорупор, слова которого о людях войны, наверное, и вызвали ее вопрос.— Предположим, вот человек имеет все, ну просто купается в роскоши. И дома, и деньги, и имущество... Говорят, даже свои железные дороги и свои пароходы у таких людей бывают... Ну, все есть. И не только на себя, но и на детей, и на внуков, и на правнуков хватит и еще останется. Ну хорошо, нагребил, злодей, и живи тихо! Тебя никто не трогает! Не действуй только дальше — ни ты, ни правнуки в бедности не умрут. Нет, он опять действует — к нагребленному еще грабит, войну вон даже затевает... Ты скажи — зачем? Зачем ему вокруг себя гнев и возмущение сеять? Что он, на четырех постелях будет спать? На пяти пароходах сразу ездить? Ведь, кажется, умный человек, а действует, как самый дурак!

Старушка вытерла липкие после мороженого пальцы о молодой лопух, вынула платок и, обтирая им сморщенные губы, выжидательно посмотрела на Лизу.

Ответить Лизе было и легко и трудно. Легко, если говорить обо всех таких людях, и трудно — об одном, ибо в действиях этого одного и в самом деле не было разумного расчета. И она решила, что понятнее, да и правильнее будет, если говорить обо всех, об общих их интересах.

И она начала говорить, но вскоре рупор остановил ее — она услышала имя матери. Что такое? Прислушиваясь к радио, она молча просидела еще несколько минут, но тот же отчетливый голос стал говорить о чем-то другом.

Рассеянно кивнув женщине, Лиза побежала к столбу с коричневыми изоляторами. Софья Васильевна и дядя Сева, стоя и смотря в разные стороны, искали ее глазами.

— Ну, где ты пропадаешь? — воскликнула Софья Васильевна с побледневшим лицом.— С Витей что-то случилось!

— Что?

Всеволод Васильевич, который был спокоен и только недоуменно улыбался, взглянув на лицо Лизы, нахмурился.

— Да не пугай ты, ради бога, Лизу! — сказал он сестре. — Ничего не случилось.

— Пошли, пошли! — не слушая, Софья Васильевна двинулась вперед.

Перед третьей камерой по-прежнему стояло много народу, и в широком, но тесном проходе еле заметно струилось движение. Продвигаясь, Всеволод Васильевич рассказал Лизе то, что она не слышала, разговаривая со старухой: по радио вызывали потерявшихся детей, а потом почему-то вызвали Софью Васильевну...

— Вот мама и думает: что-нибудь с Витей... — Он, усмехнувшись, вдруг остановился. — А знаешь, Соня... — сказал он, поворачиваясь к сестре, но поток, как ни был слаб, не дал ему стоять и повлек дальше. — А знаешь, Соня, — повторил он, уже через чью-то голову, — Витя мог сдурить и для нашего удовольствия, для того, чтобы мы были на третьей камере, сказал там, что он потерялся! Может быть, даже жалобным голосом.

— Ну, придумаешь! — Софья Васильевна тяжело дышала. — Что мы, сами не могли бы, если хотели... И как он мог! Как такая глупость пришла ему в голову! — добавила она не так уж уверенно.

Впереди виднелась верхушка трибуны, флаги, развевающиеся по ветру, но до конца прохода было не так близко. Софья Васильевна прислушивалась к радио: нет ли еще чего? Но рупоры остались позади, и доносился громкий, однако невнятный гул их. Потом и он смолк. Через минуту уже не сзади, из рупоров, а впереди слышался тихий, плавный вальс. И, слушая спокойную, плавную музыку, она подумала, что не может быть плохого...

Перед концом прохода впереди стало видно свободное место вокруг трибуны, белым блеском замелькали никелированные трубы оркестра.

И тут вдруг появился Витя. Энергично протискиваясь во встречном потоке неповоротливых взрослых, он первой увидел Лизу.

— Там папа... написан! — шумно дыша, выговорил он.

Софья Васильевна, не слушая, что он говорит, про-

светлев лицом, но все же строго глядя на его каштановый чубик на лбу, двинулась к сыну. Но Лиза, схватив брата за руку, быстро устремилась вперед.

Выбежав на свободное место, миновав слева трибуну, справа оркестр, теперь Витя повлек сестру к группе людей, чинно и молча стоящих около темно-серого гранитного обелиска. Лиза, заметив этих людей, смутилась, но потом, обняв брата за плечи, вместе с ним медленно подошла к четырехгранному, заостренному наверху граниту.

Четыре бело-розовые, прикрепленные на больших позолоченных винтах мраморные таблички шли сверху вниз. Лиза сразу увидела самую нижнюю, четвертую: «Майор М. Шувалов». Тогда она прочла по порядку эти золотые, врезанные в мрамор слова, чтобы снова дойти до четвертой строки.

Солдат *Ф. Бутузов*
Солдат *Д. Зайченко*
Лейтенант *А. Кузнецов*
Майор *М. Шувалов*

Первые две она видела в мастерской, да и третью, тогда еще не покрытую золотом... Но как же, почему четвертая? Она стояла не шевелясь, перечитывая последнюю строку еще и еще раз, и слезы, которых она не могла понять — не то радостные, не то горькие, — подступали к глазам. Ну хорошо, герои, но что это — памятник погибшим? Или нет?.. Витя, начавший было оживленно рассказывать, как потянули за веревки чехол, и как он ловко раскрылся, и как потом упал, посмотрел на Лизу и, замолчав, тоже насупился.

— Товарищ Аверьянов, вот дети майора Шувалова.

Лиза повернулась на голос и увидела Павеличева, подходившего к ней. Двое из группы — высокий, с усами и полный, в соломенной кепке, — тотчас пошли за ним следом. Павел поздоровался с Лизой наскоро, как бы не желая ее отвлекать, и повернулся к тем двоим.

Те тоже поздоровались — не наскоро, но с той неловкостью, когда не знаешь, о чем начать говорить. Аверьянов заметил влажные глаза девушки и, словно найдя, что надо делать, обнял Лизу.

— Ну, а где же, Лиза, ваша мама? — просто, будто ничего не заметив, спросил он.

— Она сейчас! Вот она... — Лиза, не поднимая

непросохших глаз, кивнула на проход, где показались Софья Васильевна и дядя Сева.

...Никодимцев смотрел на детей и думал о том, что вот тут, поблизости, на плотине, под тем же, только зимним небом человек заставил себя забыть об этой вот девушке и мальчике. Надо было забыть...

У женщины, которая приближалась к обелиску, был большой лоб и такие же, как у Лизы, глаза — широко расставленные, узкие, серые, — и Никодимцев, который не слышал ответа Лизы, догадался, что это мать.

Оркестр заиграл марш — окончание праздника. Свободное место вокруг трибуны, обелиска и музыкантов теперь заполнилось людьми, стоявшими до этого вокруг. Солнце шло к закату, и длинная тень от поднятой стрелы крана протянулась по воде далеко за третью камеру. Там же, прикасаясь к этой тени от железа, легло отражение розового небесного облака. Блики на никелированных трубах оркестра потухли, и только у толстого баса-геликона, поднятого над головами, серебрился ободок широкого раструба.

Глава девятая

ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ

1

На следующий день утром в обкоме было совещание по месячному плану. Вылезая с Лазаревым из машины, Аверьянов заметил около подъезда девушку с голубыми сережками — одну из трех, которые вчера на открытии шлюза заговорили с ним о Кузнецове. Она стояла около темно-бурой потертой «эмки» и стирала с дверцы серые брызги высохшей грязи. «У них в районе, значит, дожди прошли», — подумал Аверьянов, подходя к ней.

— Что же, вы его вчера так и не нашли? — спросил он.

— Нашла, да поздно, — сказала она, выпрямляясь и встряхивая тряпку. — Он иностранным крестьянам плотину объяснял, не мог отойти.

— Он тут? — Аверьянов кивнул на здание. — Какой из себя ваш директор?

Девушка положила тряпку на радиатор.

— Ну, какой... — Она простодушно улыбалась, затрудняясь описать его. — Ну, обыкновенный, только неразговорчивый... Ну, не любит много говорить, тихий. Но на самом деле не тихий...

— Да-а, приметы не тово... в глаза не бросаются! — Аверьянов усмехнулся и посмотрел на Лазарева, который его поджидал на ступеньках подъезда. — Сейчас иду! С этими приметами, милая, — сказал он девушке, — только в конце совещания человека найдешь: кто молчал, тот и есть! — И он пошел к подъезду.

— Это, наверное, тот, из новых, который в прошлый раз лишнее оборудование «Новой заре» предлагал, — сказал Лазарев, открывая тяжелую дверь.

Аверьянов не помнил этого...

Узнав, что совещание еще не началось, он попросил секретаршу показать ему Кузнецова. Тот стоял у открытого окна и, покуривая, смотрел на улицу.

— А мы вас вчера искали! — радушно сказал Аверьянов, здороваясь и незаметно рассматривая собеседника.

Это был человек лет тридцати пяти, загорелый, с толстыми губами, которыми он двигал медленно, будто они у него уставали от движения. Говорил он не торопясь, поглаживая черные с рыжиной волосы, стриженные коротким ежиком. На расспросы Аверьянова отвечал коротко: да, он тогда был в звании лейтенанта, да, ему говорили, что его вчера вызывали, но он не мог отойти...

— Переводчица попросила. Все на открытии, и объяснять некому, — говорил он. — А крестьяне не виноваты, что в такое время приехали. Ну вот, я и взялся, что помнил — сказал... А когда все разошлись, я там был, видел... — Он краем толстых губ неловко улыбнулся. — Ну, если считаете, что я заслужил, то спасибо!..

Аверьянов вдруг почувствовал волнение. Хотя он подошел к человеку незнакомому и заговорил с ним за просто, но он не мог не вспомнить того дела, в котором тот участвовал. Короткие записи в архиве, что они прочли с Никодимцевым, как ни были скупы и официальные, все же дали какую-то пищу воображению. Но сейчас было не время для расспросов, да они и не уйдут, — надо успеть о главном, из-за чего он хотел повидать этого бывшего лейтенанта.

Прозвенел звонок, все тронулись к открытым дверям зала, из которых тянуло прохладным и еще не накуренным воздухом.

— У меня к вам просьба, Алексей Христофорович,— проговорил Аверьянов и убавил шаг, как бы придерживая Кузнецова.— У нас есть один хороший обычай...

И он рассказал о «вечерах молодых строителей», которые у них собирают много народу. Вот и завтра будет такой вечер. Хорошо бы, если б Кузнецов в связи с открытием обелиска вспомнил, рассказал о военных днях гидростанции. Ведь это слава станции!

— Ну, знаете, как в армии! — добавил Аверьянов.— Приходят молодые солдаты, а им говорят, чем полк до них занимался, чем славу свою заслужил. А то что же — фамилии на обелиске вчера все видели, а что за этим? Надо живое что-то...

Кузнецов, выпатив толстые губы, слушал настороженно,— наверное, думал: уж не на новое ли заседание его хотят затащить?

— Чикильдеева забыли! — неожиданно сказал он.— Водолаза, который по нижней потерне шел.

Парторг понял это так: раз бывший лейтенант вспомнил какого-то своего соратника, значит, придет на вечер, расскажет. Считая дело решенным, он заметил Кузнецову, что упущенное можно исправить — дополнить новым именем — и снова вернулся к вечеру. Да, эти вечера у них проходят дружно, ребята хорошо слушают. Нет, на заседания это никак не похоже...

И тут Кузнецов стал отказываться. И по мотиву, который Аверьянов после недавнего разговора с голубыми сережками — с шофером этого молчальника — легко мог предположить: не умеет, не любит говорить перед залом... Но Аверьянову поспособствовал неизвестный ему Чикильдеев. Почувствовав в неловком, замкнутом Кузнецове справедливого человека, парторг, косясь на председателя, пробиравшегося к своему зеленому столу, стал нашептывать бывшему лейтенанту о том, что вот об упомянутом им водолазе никто и ничего не знает, что в архиве ни строчки нет. Разве он, Кузнецов, знающий об этом человеке, не обязан сказать?

И Кузнецов, вздохнув, согласился.

«Молодец Чикильдеев, помог! — невольно подумал парторг.— Значит, в нашем «хозяйстве» и такой еще

есть!» Аверьянов решил, что, вернувшись к себе, он успеет до завтрашнего вечера строителей занести новое имя на обелиск. Но по заданию обкома ему пришлось сразу после совещания выехать в район, и вернулся он только к самому открытию вечера.

2

Бывают такие встречи. Мы видим человека мельком, пусть даже сидим с ним рядом в долгом пути вагона, но вот он уходит, исчезает, мимоходный, случайный, даже память его не удерживает. Проходит время — и вдруг он возникает снова, уже другой для нас...

Вот так и Кузнецов для Лизы. Она застала его у дяди на фабрике, она видела его с экскурсией на плотине — все был мимоходный. Но вот он стал приближаться — имя его на граните, а сейчас этот вот человек сядет за стол и расскажет о прошлых военных днях плотины и, может быть, об отце... Да, теперь он уже стал другим для нее.

Но тогда и другое: если Кузнецов жив — вот он! — то гранит, к которому она позавчера подбежала с Витей, значит, не памятник погибшим!

...Места на клубном вечере достались не в одном ряду, и Витя попросился на передние — он почему-то был уверен, что после всего будет кино, а в кино он любил сидеть на этих местах. Чтобы не оставлять мальчика одного, Софья Васильевна поручила его Лизе, а сама со Всеволодом Васильевичем и Натальей Феоктистовной села подальше.

Лизе было неприятно одной с Витей, и она оглядывалась на мать, которая почему-то делала ей строгие глаза. Но, хотя и строгие, Лизе все же хотелось быть рядом с ней. Позже она заметила около нее Павеличева — тем более было бы лучше там, чем здесь одним...

Но, когда к круглому, покрытому темной тяжелой скатертью столу неловко, как бы боком, приблизился человек с толстыми губами, Лиза, уже не оборачиваясь, забыв все, смотрела только на него, Кузнецова, уже наперед думая, волнуясь о том, что он может рассказать тот, чье имя на одном граните с ее отцом.

Когда Кузнецов вчера пообещал Аверьянову рассказать молодым строителям о военных днях гидростанции, он надеялся на свои записи тех лет, которые недавно привел в порядок — переписал, дополнил. Конечно, лучше говорить, рассказывать, чем читать, и он все время досадовал на себя, что не может обойтись без записей. Но, когда он подошел к круглому, как бы домашнему столу, стоящему не на сцене, а среди небольшого зала, к столу, окруженному молодыми и немолодыми лицами, он подумал, что читать-то, пожалуй, будет лучше, удобнее.

Он сел, надув губы, вздохнул и вытащил перегнутую надвое тетрадь. Придерживая пальцем синюю закладку, он открыл тетрадь где-то на середине.

В это время Лиза заметила, что Витя, вынув что-то из кармана — не то отвертку, не то гвоздь, — отвинчивал медный номерок «14» на спинке переднего стула. Она, сжав его руку и даже прищелкнув по ней, отвела ее от номерка.

— Да я хочу завинтить! — зашипел он. — А то отскочит, потеряется...

— Все равно не надо! — не сразу, но решительным шепотом сказала Лиза, не выпуская его руки. — Слушай лучше...

Читатель! Мы приближаемся к концу пути, и тут нас ждут перемены — и времени, и места, и людей. Всякие поиски долго идут на ощупь, неожиданно переходя с одной тропинки на другую, пока не откроется настоящий след, который иногда меняет многое...

Так было и с той семьей, которая приехала в Завьяловск. Мать и дочь начали свой путь в погожий, мирный день недавней московской весны, начали наугад, имея только горячее желание — найти след мужа и отца. По пути подходили доброхотные помощники. Так было и с парторгом, и с журналистом, и с оператором, шедшими по тому же пути.

Но вот к столу с дневником в руках выходит новый человек — и все меняется: и время, и люди, да и место.

«4 января 1944 г.

По недавней сводке знали, что левый берег и Завьяловск мы отбили, но правый пока у немцев. О знаменитой Завьяловской плотине в сводке не говорилось, и мы гадали: цела ли? А если цела — чья же она? Но сегодня, когда наша часть прибыла в Завьяловск, увидели — плотина на месте.

Да, на месте, но в каком виде! Восемнадцать бычков наверху взорваны, а между 27-м и 28-м бычками гитлеровцы даже выхватили кусок из тела плотины. Шлюз уничтожен. Больно смотреть. Помню, когда плотину построили, во всех газетах внизу страницы были длинные фотографии. Помню, из техникума, еще мальчишками, мы ездили сюда на экскурсию. В солнечный тогда день мы подошли к реке и все сразу замолчали. Какой-то озноб прошел по спине. Это была гордость...

И вот теперь она — изуродованная, щербатая, опаленная взрывами. И небо над ней серое. Мы тоже, как и тогда, молча стояли на берегу, но это было уже другое молчание. Да и стояли мы не в открытую, а таясь — о н и ведь еще на том берегу.

Но зато сегодня взята Белая Церковь.

9 января

Сегодня меня и капитана Савицкого вызвали к полковнику в штаб. Удивило, что тут же были двое штатских. Один из них — инженер Владыкин, работавший во время строительства станции по гидромонтажу, другой — представитель того наркомата, который ведал гидросооружениями в стране. Они прибыли еще до нас, вместе с войсками, бравшими левый берег, но потом ездили в штаб фронта. Сошлись интересы: для нас плотина — как мост на тот берег, чтобы дальше гнать фашистов, для них же плотина — это плотина. Впрочем, конечно, и у нас и у них интерес один.

Вчера ночью Владыкин с нашими саперами-разведчиками облазил плотину. Мы за это время кое-как, своими средствами, сделали ее проходимой. Но я знаю, что это за прогулка была у Владыкина! Тут надо быть акробатом — то идти по переброшенной обледенелой доске, то, как обезьяна, хвататься за перекинутый трос и перебирать руками. А под ногами ничего нет — ночь, пустота...

До конца, до правого берега, Владыкин, понятно, не дошел. Немцы заметили, стали обстреливать. По словам Владыкина, разрушения ужасны, но поправимы. Это с точки зрения строителя, восстановителя. Примерно то же самое сказал капитан Савицкий. По нашим данным: при наступлении на разрушенных местах проезжей части плотины можно будет перекинуть заготовленные мосты. Полковник, выслушав все это, вынул из папки бумагу и сказал:

— Если бы и дальше так было, то еще хорошо... Сейчас у гитлеровцев пока малая задача: разрушением проезжей части плотины отгородиться от нас, от нашего наступления. Да и то вот наши разведчики пробираются. Правда, только разведчики и только ночью. И до правого берега не доходят. Но, надо полагать, враг на этом не успокоится.— Он кивнул на бумаги.— В отчетах по опросу пленных, взятых на разных, даже далеких от гидростанции участках, везде решительно говорится, что при отступлении от реки плотина будет взорвана до основания. Значит, в ней есть заряды, заложенные, но еще не использованные...

Мы затихли. Каждый из нас повторил про себя: «До основания...»

Но гитлеровцы уже бегут, война не вечна — как же потом без гидростанции?..

10 января

Вчера же ночью приступили к поискам мин. Представитель наркомата привез чертежи плотины. Ну и хозяйство! Плотина кажется монолитной, а на самом деле в ней две потерны — два сквозных коридора — прорезают ее вдоль — от берега до берега. О верхней потерне мы знали, но о нижней — только теперь. Еще вентиляционные колодцы — это уж просто бетонные норы в теле плотины. К чертежу мы прибавили еще донные отверстия. В нашей плотине их не было, но гитлеровцы, когда овладели гидростанцией, прорубили их. Стали прикидывать: где могут быть мины? Владыкин сказал, что в любом месте плотины фашисты могли отбить бетон, положить заряд и замуровать его. А в плотине больше полукилометра. Поди ищи! Это было, конечно, верно, но Владыкин только строитель, а не сапер, который и строит и разрушает. Поэтому капитан Савицкий сказал:

— Вспомним насчет «до основания». Тут не каждая

мина «сыграет», а только далекая и глубокая. Чем больше сопротивление для взрывчатки, тем больше разрушение. Она как бы мстит: «Чем глубже меня прячешь, тем больше я разнесу...» Давайте искать места с таким вот сопротивлением.

И таких мест оказалось немного: верхняя и нижняя потерны, донные отверстия и вентиляционные колодцы. Все это находилось в глубине плотины. Фашистских подрывников должна была больше всего привлечь нижняя потерна. Судя по чертежу, эта узкая, не выше роста человека полукилометровая нора-коридор внутри плотины — от берега до берега — проходила ниже уровня воды, почти у самого основания плотины. Владыкин повел нас к нижней потерне, но и сам ее не узнал; может быть, поэтому и мы о ней не догадывались: вход в нее с нашей стороны был завален рваным бетоном, и между обломками стояла вода, подернутая сверху ледком. Может быть, фашисты нарочно затопили потерну, чтобы не дать возможности обнаружить спрятанные там мины, или вода сама прорвалась через трещины от взрывов в верхних частях плотины, — неизвестно.

Савицкий приказал на завтра вызвать водолаза, а вчера же саперы-разведчики осмотрели, насколько могли, верхнюю потерну. Двигались медленно, шаг за шагом. Помогали и собаки. Нельма в одном месте что-то учуяла, но исследовали и даже взяли пробу — бетон оказался старый, нашей давнишней кладки. Сегодня повторяем маршрут. Если на гитлеровцев сильно нажмут с флангов, они должны будут откатываться от реки, от станции, а это значит — перед бегством мерзавцы разделаются с плотиной...

13 января

За эти дни были повторные поиски в верхней потерне и начали исследование вентиляционных колодцев и донных отверстий. Была работка!.. К колодцам и к отверстиям — это не потерна — надо подходить в открытую. Не спасала и ночь — то луна светит, то снег заскрипит. Надо прятаться, ждать конца обстрела. Из десяти донных отверстий, пробитых фашистами, пять они забетонировали полностью, а пять — наполовину. Мы бурили и те и другие. Пробурили вглубь на два метра и ничего не нашли — сплошной бетон.

Прибыл ефрейтор Чикильдеев. В первый раз вижу

водолаза. Я думал, что это громадные люди,— оказалось, обычные. Среднего роста, коренастый, с усиками-колючками. Я в первый раз вижу водолаза, а Чикильдеев — в первый раз такую работу: спускаться не сверху вниз — это придется немного,— а главным образом идти по длинному горизонтальному коридору, наполненному до потолка ледяной водой. Он готовит шланг черт знает какой длины...

15 января

Говорят — дисциплина, приказ. Бутузов мог бы пройти мимо вентиляционного колодца, которого ни Савицкий, ни я не заметили — был закрыт обломками. Но он разгреб их, и его спустили в колодец на тросе. И вот тоже: как тросу пришел конец, его могли бы вытянуть обратно. Но этот колодец оказался почему-то глубже других, и троса не хватило. Человек, у которого в голове только приказ, дал бы команду: «Поднимайте!» — и никто бы не узнал, что до дна колодца солдат не долез... Бутузов же попросил надвязать трос и пошел спускаться дальше — совсем уж в преисподнюю.

Всем хочется спасти плотину, но итоги такие: ни в верхней потерне, ни в донных отверстиях, ни в вентиляционных колодцах мины не обнаружены. Посмотрим, что будет у Чикильдеева в нижней потерне. Сегодня он отправляется. За ним змеей потянется бесконечный шланг, составленный из обычных сорокаметровых кусков.

15 января, вечер

По порядку, как было... Оделся Чикильдеев тепло — вода ледяная. Завинтили ему шлем на скафандре, проверили воздух, телефон, и он вошел в воду. За ним поползли воздушный шланг и сигнальный конец.

Прошла минута, две. Он стал выбирать шланг. Много. Так было условлено. Он выбирает несколько кругов и на этом запасе идет дальше. Потом останавливается и опять выбирает. По отметкам на шланге видно, сколько уже прошел: 62, 64, 66, 68 метров... Черная змея все ползет и ползет за ним. По телефону — все спокойно, ровное дыхание, идет медленно, освещая стены фонарем. Света, конечно, мы не видим, но догадываемся. Стоим около воздушного насоса и курим. Медленно тянется время. Вдруг слышим по телефону:

— На левой стене вижу квадрат свежего бетона. Раз-

мер — метр на метр. Нижний край на уровне груди, верхний — под потолком. Смотрите отметку!

Ну, наконец! Она! Общее возбуждение. Отметку на шланге мы уже увидели: 204 метра.

— На левой стене вижу квадрат свежего бетона...— Чикильдеев начинает повторять, но ему говорят, что все слышно, и он продолжает: — Провод заделан в бетон. Дорожка свежего бетона начинается с правого верхнего угла и идет под потолком к правому берегу. Без подмостков не достать. Иду дальше — может, дорожка будет спускаться.

У Чикильдеева было с собой все, чтобы открыть замурованный в бетон, обычно неглубоко, провод и разомкнуть электровзрывную сеть. Но о высоте проводки мы не подумали. Кто-то посоветовал послать ему с сигнальной веревкой ящик или табуретку. Но тогда в случае порчи телефона он останется без сигнала. Может быть, и в самом деле провод где-нибудь опустится. Шланг уходил все дальше: 250, 252... И все медленнее — тяжесть шланга, которую надо тащить за собой, все увеличивалась. Но вот Чикильдеев передает радостным голосом:

— Впереди себя, справа, вижу плашки бетона! Пробую перенести к левой стене и встать на них.

У нас отлегло от сердца. Однако Чикильдеев чего-то медлит — шланг не выбирает.

— Давайте шланг!

Ему отвечают, что шланг свободен, но он опять его требует — не может дойти до этих плашек. Потом смолкает. Слышно тяжелое дыхание. Его спрашивают, что там. Он отвечает, что шланг, наверное, где-то заклинило и он его старается вытянуть. Минута, другая — что-то бормочет, опять слышно дыхание, и вдруг он быстро:

— Разрыв шланга!

Этого можно было ждать: в каком-нибудь из многих сорокаметровых кусков шланга при сильном потягивании, очевидно, сдала муфта крепления, и шланг разъединился. Значит, качаем воздух не Чикильдееву в скафандр, а в пустую воду, в потерну. Вода в тот кусок шланга, который остался у Чикильдеева, не должна прорваться — ее задержит клапан, но воздух — много ли его в скафандре? Сигнала от него нет. Запрашиваем. Слышна какая-то возня, сопение. Потом голос — глухой, разбираем с трудом:

— Иду к разрыву! Выбирайте!

Сигнальный конец начинают выбирать, помогать водолазу двигаться. Где разрыв шланга — в начале, в конце ли? Надолго ли хватит воздуха? В телефон уже не голос, а хрип... Вот уже не отзывается... Веревка вдруг тяжелеет. Слышен хрип — и тихо. Совсем тихо...

Мы вытаскиваем мертвого Чикильдеева. Открываем шлем — узнать нельзя. Только усики колечками...

16 января

На сегодня решили снарядить в нижнюю потерну на отметку 204 молодого водолаза Ярощука, прибывшего вместе с Чикильдеевым. Храбрый парень — после всего случившегося сам вызвался. Да и всем понятно: минная камера обнаружена, провод идет на вражеский берег, и каждый час, каждую минуту можно ждать... Хотел идти тут же, после Чикильдеева, но надо было заново осмотреть муфты соединения на шланге. Хотя виноваты, вероятно, не муфты, а куски рваного бетона, которые тут, в районе плотины, буквально всюду. Лежащие где-нибудь под водой, недалеко от входа в потерну, они и заклинили шланг. Разрыв-то произошел в сорока восьми метрах от насоса.

Но фашисты, видимо, пронюхали нашу вчерашнюю возню в нижней потерне и с ночи со своего входа в потерну стали взрывать какие-то мелкие заряды. Из нашего хода вырвались бурные, сильные выплески воды — водолазу на ногах не устоять. И этого им показалось мало: с раннего утра открыли редкий огонь по району, где у нас вход в нижнюю потерну. Он укрыт, но все же немцы стараются отпугнуть.

И она под такой охраной спокойно лежит на 204-м метре...

17 января

Говорят, что между тремя и четырьмя часами ночи все на земле спит. И мир спит, и война спит. Это было бы верно, если бы эту истину знал кто-то один. Но на войне ее все знают, и кому надо — не спят.

Не спали сегодня ночью и немцы — они продолжали редко, методично класть снаряды в районе нашего входа в потерну. Но от этого их часовые как бы дремали — орудийный голос отвлек их от плотины и заглушил шум на ней...

Сегодня в 3.40 ночи саперы-разведчики Федор Бутузов и Данило Зайченко впервые проникли на правый берег и близ нулевого бычка перерезали толстый шланговый четырехжильный кабель. Он шел в верхнюю потерну с отводом в нижнюю. Разомкнули искусно: вырезали жилы, оставив оболочку. Резиновый шланг казался нетронутым. (Теперь Ярошуку не надо лезть к 204-му метру — заряд обезврежен.)

Сейчас они докладывали полковнику. Прослышав о кабеле, в штабе собрались все штабные и нештабные. Еще бы — и первыми на правом берегу побывали, и такое дело!.. Рассказывает — в который уж раз! — разбитной, румяный Бутузов, а высокий Данило Зайченко, опустив длинные руки, молча слушает, слушает со вниманием, с любопытством, будто его там, рядом, не было!..

Полковник будет их представлять к орденам. Я бы дал им Героя! Их плотина!

Под Ленинградом взято сорок населенных пунктов.

18 января

Признаки были и раньше, но теперь все яснее — гитлеровцы собираются покинуть гидростанцию, реку. На шоссе у них большое движение в западном направлении. Да и по карте видно — во многих местах с правого берега их вышибли, а в районе станции с минуты на минуту они могут ждать окружения...

19 января

Взрывы и пожары на том берегу — обычное перед их бегством. Негодяи! Мы ведем артобстрел, чтобы разогнать поджигателей и взрывателей, но это не очень эффективно... Мы не знаем, где у них находятся взрывные станции. Но к нулевому бычку, к разомкнутой электровзрывной сети на плотине, они уже не подступятся! Вчера мы открыли беспокоящий — а для нас заградительный — огонь по району нулевого бычка, а этой ночью пулеметный взвод вместе с Зайченко и Бутузовым перебрался на край плотины и сейчас не умолкая чешет перед нулевым. Муха не пролетит... Нет, дяди, поздно исправлять, если вы даже и заметили!..

25 января

Много событий за эти шесть дней. Освобождены Новгород, Лигово, Царское Село, Красное Село, Павловск.

У нас же события как бы мирные. Правый берег очищен, война ушла от гидростанции, и только темной ночью видны далекие зарницы на западе. Звук уже не доходит.

Единственное — бомбежка. На второй же день, как фашисты откатились, был налет. В бессильной злобе метили в плотину — не могли уничтожить с земли, так вот теперь с воздуха. Наши зенитки дали им жару! Бомбы побросали в воду. Не меньше тонны каждая — гигантские столбы воды. И так три дня подряд.

Приехал мой брат, работает на правом берегу нормировщиком. Из-за сгоревших домов теснота такая, что живем с Григорием в поселке врозь, видимся редко.

Часть наша ушла вперед — и полковник, и Савицкий, и Бутузов с Зайченко. Меня временно оставили на станции по ходатайству «Группы строительства», возглавляемой представителем наркомата Белугиным.

Вот она, Советская власть! Сразу за войной — труд, за солдатами — строители. А у нас тут даже так: солдаты же и берутся за топор. Прибыла специальная часть подполковника Тоидзе, которая будет на первых порах помогать «Группе строительства». Сама группа тоже разрослась — приехали не только недавние эксплуатационники, которым, как это ни странно, при неработающей станции тоже нашлась работа, но и давнишние строители.

Что я, видевший гидростанцию на газетной картинке и раз — на экскурсии! Эти же люди создавали станцию или много лет работали по эксплуатации ее. Надо было видеть этих приезжих, когда они подошли к уничтоженному шлюзу, к плотине, когда ступили на правый берег... Там уж просто был железобетонный хаос. Нет ни турбин, ни корпуса управления, ни аванкамерного моста... Слезы выступали на глазах...

Потом сели на куски рваного бетона, сели в кружок, закурили, как погорельцы. И в самом деле погорельцы — все сгоревшее было не чужое...

Работа началась сразу же. Сперва общее — размеры разрушений, что в первую очередь делать и распределение сил по объектам.

Меня оставили на плотине, как уже знакомого с работами на ней. Часть подполковника Тоидзе тоже была распределена, и на плотину была выделена группа под руководством заместителя командира — майора инженерных войск Шувалова. Я и был причислен к его группе.



У нас две первоочередные работы: 1) разминировать плотину, 2) открыть донные отверстия.

Месяца через два начнется паводок, и вода, идя через разрушенные водосливы на верху плотины, естественно, будет размывать ее, увеличивать разрушения. Воду надо спустить низом, через подножие плотины, открыв там забетонированные немцами донные отверстия.

Начали, конечно, с разминирования — нельзя работать, жить рядом с взрывчаткой, с минами...

На плотине все снова было осмотрено. На этот раз тщательнее — при дневном свете, без опасения обстрела. Бычки, водосливы, щиты Стоunea, опять вентиляционные колодцы.

Сегодня весь день — в верхней потерне. Я рассказал Шувалову о событии 17 января, однако перерезанного кабеля около нулевого бычка мы не нашли: заградительный огонь в этом районе завалил или уничтожил тут проводку... Вообще-то кабель был — его нашли в стороне, — но как было проверить его направление? Бутузов с Зайченко не ошибались, говоря, что он идет к плотине, но они не могли, конечно, точно указать, куда он шел — в верхнюю или в нижнюю потерну, — ибо в любом скрытом месте

кабель мог изменить свой путь. Относительно проводки к нижней потерне у нас не было сомнения: 204-й, до которого мы еще не добрались. Но второй конец? Он мог пойти не в верхнюю потерну, а свернуть в нижнюю, ко второму там заряду, или еще куда... Но мог проползти и в верхнюю.

И вот сегодня в верхней. Шли шаг за шагом, с сильными фонарями, с собаками. Пять раз брали пробу — ничего. Нельма опять на том же месте что-то учуяла. Но пустили следом Весту — она прошла мимо. На всякий случай бурили.

27 января

Сегодня вспомнили Чикильдеева.

На 204-й метр пошли «легкие» водолазы подполковника Тоидзе. Воздушного шланга, который может заклинить и разорваться, с ними нет, а сжатый воздух в баллонах они несут с собой за плечами.

Были две неожиданности. Первая: квадрат свежего бетона водолазы нашли на 196-м метре. Решили, что Чикильдеев проглядел его. Стали ждать того, который на 204-м. Но того не оказалось ни дальше, ни ближе. Поняли, в чем дело: Чикильдеев, прежде чем заметить минную камеру, выбрал на себя шланг, по которому мы и вели измерение. Он стоял к нам ближе, чем выходило по шлангу.

О второй неожиданности майор Шувалов сказал: «Это мог сделать только настоящий человек!» Что же Чикильдеев сделал? Плашки бетона, которые он тогда увидел с п р а в а и впереди себя, сейчас водолазы обнаружили у л е в о й стены потерны, положенные друг на друга. Это значит, что, когда произошел разрыв шланга, Чикильдеев подумал не о себе, а о спасении плотины. На том ничтожном запасе воздуха, который у него был в скафандре и который ему пригодился бы для возвращения к выходу из потерны, он успел перенести плашки на левую сторону, положить друг на друга, встать на них и начать отколачивать бетон с замурованных проводов — водолазы нашли над плашками следы его работы — и, когда уж стал задыхаться, терять сознание, заторопился к разрыву: может, надеялся, что разрыв недалеко от него, что, получив воздух, он вернется, чтобы кончить с кабелем! Да, Чикильдеев... И по телефону ничего не сказал! Ему бы не разрешили оставаться.

Водолазы довольно быстро вскрыли и очистили эту

минную камеру. Заделка, по их словам, была неглубокая: сантиметров пятьдесят — шестьдесят бетона. Гитлеровцы, вероятно, считали, что вода в потерне будет служить дополнительной «заделкой», сопротивлением. При небольшом выходном отверстии — метр на метр — камера имеет около двух метров глубины. Стоял тол в ящиках.

Сменив баллоны, водолазы осмотрели нижнюю потерну и дальше — до правого берега.

Когда расходились, майор опять вспомнил водолаза с плашками: «Да, дядя... Какое самообладание! Позавидуешь!»

Сегодня радио — мы взяли Гатчину... Шагаем!

28 января

На днях майор переехал на край города, на улицу Шевченко. До этого перебивался в поселке — и плохо и далеко от работы. А работа такая, что каждую минуту надо быть поблизости. Сегодня он пригласил к себе старшего лейтенанта Карнауха, лейтенанта Иванцова и меня.

Сейчас только вернулся оттуда. Было как на новоселье. Сперва все чин чинном, а уж после, как отсели от стола, начался разговор.

Дома, без шинели и шапки, в роговых очках, майор был другой — подорожее, поласковее и будто поменьше ростом, подомашнее. И мы его как-то легко стали звать Михаилом Михайловичем.

Когда встали от стола, он сказал:

— Первую нашу задачу — разминировать плотину — мы не выполнили. То, что мы нашли в нижней потерне, — пустяк для такого мощного сооружения, как плотина. Это ясно по самым элементарным вычислениям. — Майор тут кивнул на стол в углу, где лежали раскрытые книги и исчерченные листы бумаги. — Этот заряд, — продолжал он, — мог играть роль только как сопутствующий, помогающий... Так что тот электро-взрывной шланговый кабель, который при Алексее Христофоровиче, — тут он стал смотреть на меня, будто я за это отвечаю, — разомкнули Бутузов и Зайченко, пока что не имеет настоящего адреса. Куда и к чему он вел? Ведь не только к 196-му метру?

— Надо мину искать дальше, — сказал Иванцов.

Михаил Михайлович усмехнулся:

— Золотые слова! Но где? Не всю же плотину перерывать...

Мы поняли, что из-за этого-то майор и устроил новоселье. Голоса разделились: я считал, что надо осушить и спокойно осмотреть нижнюю потерну. Мотивы — за: 1) самая низкая, самая закрытая, а значит, и самая выгодная позиция для взрывчатки, «любящей» большое сопротивление; 2) немцы, заметив нашу возню в нижней потерне, когда ходил туда Чикильдеев, старались помешать дальнейшим нашим поискам; 3) чего нельзя сказать про донные отверстия: их, во-первых, уже бурили на два метра и ничего не нашли, а во-вторых, немцы особо их не охраняли.

Лейтенант Иванцов промолчал, затрудняясь ответить, а старший лейтенант Карнаух стал говорить о донных отверстиях. Его мотивы: 1) донные отверстия, располагаясь поперек между верхней и нижней потернами, могут иметь позицию для взрывчатки не столь хорошую, как в нижней потерне, но более удачную, чем, например, в верхней; недостаток же этой позиции в сравнении с нижней потерной может компенсироваться бóльшим количеством взрывчатки; 2) маскировка минной камеры при бетонной заделке не проста; камера в нижней потерне была обнаружена по квадрату свежего бетона, но там немцы рассчитывали на воду — она не даст нам возможности проникнуть к камере; 3) отсюда у гитлеровцев могло быть стремление расположить камеру там, где мог быть их свежий бетон, то есть в забетонированных ими донных отверстиях.

Рассуждение старшего лейтенанта мне понравилось, но я напомнил, что в 1942 году, после нашего отступления от станции, немцы, как говорили жители, ремонтировали плотину, следовательно свежий бетон может быть и в других местах.

— Верно,— сказал Карнаух.— Но давайте вспомним, где эти ремонтные пятна. Ведь только на верхних строениях плотины. В одном лишь месте свежий бетон спускается примерно до уровня верхней потерны. А мы же ведь ищем какие-то низкие камеры...

Я мельком подумал об этом большом пятне над верхней потерной, вспомнил Нельму... И тот 17 января перерезанный кабель...

Михаил Михайлович сидел в углу. Он улыбнулся, потер свои маленькие руки и сказал:

— Я вас помирю вот на чем. Первую свою задачу мы не выполнили, так приступим прямо ко второй — к

вскрытию донных отверстий, с чем нас очень торопят строители. С завтрашнего дня приступим. Но вот как? Если камера — в одном из донных отверстий, то чем раньше мы ее обнаружим, тем свободнее, безопаснее, а значит, скорее можно будет открывать другие. У нас две группы отверстий: одни забетонированы целиком, другие — наполовину. Сначала надо решить, с каких мы начнем. Где больше шансов найти минную камеру? Прошу вас завтра всех троих взять народ и осмотреть место действия и к 13.30 доложить.

Хотя мой вариант нижней потерны не был принят — Михаил Михайлович деликатно его обошел, — я все же был уверен: там, где больше «забивка», там и мина, то есть отверстия, полностью забетонированные, более подозрительны. Карнаух поддержал меня: «Да, да, конечно...» И стал говорить о том, что гитлеровцам не было смысла, поместив минную камеру в донном отверстии, забетонировать ее только наполовину. Почему? Бетона, что ли, не хватило?

Старший лейтенант еще не кончил говорить, как румяный, с веселым желтым чубом на лбу Иванцов уже стал хитро улыбаться. До этого он хмурился, ему, видимо, было неловко, что он мало высказывается, и теперь решил что-то сказать. В нетерпении он даже пересел со стула на стул. И, когда Карнаух кончил, он быстро проговорил:

— Вот именно поэтому-то они и могли поместить камеру в полузакрытом отверстии. Нарочно! Раз вы так думаете, раз многие так подумают, то они сделали наоборот. Так сказать, психология с обратной стороны. О ней еще писатель Достоевский говорил!

Майор возразил:

— Если уж сегодня мы дошли до психологии, то, по-моему, надо говорить не об «обратной», а о самой обыкновенной психологии захватчиков. Гитлеровцы собирались навечно жить тут и владеть первоклассной гидроэлектростанцией. Что же они делают? Они ремонтируют разрушения, чтобы пустить станцию в ход. В частности, чтобы отстроить верхние строения плотины, они спускают воду низом, через донные отверстия, которые временно пробивают в теле плотины. Так? Так... Когда строительные работы наверху у них кончились и воду можно было пустить нормальным путем, через водосливы, то есть начать эксплуатировать плотину, надоб-

ность в донных отверстиях отпала, и они их закрыли, забетонировали. Но была ли у них полная уверенность в благополучном существовании здесь? После Сталинграда, Курской битвы вряд ли на это можно было рассчитывать...

Пока майор зажигал папиросу, Карнаух успел встать:

— Простите, Михаил Михайлович, но, если у них не было уверенности, зачем они закрывали отверстия, готовя тем самым плотину к нормальной эксплуатации? Это громадная работа, не для нас же они старались!

— Но я и не говорю, что у них не было никакой уверенности,— продолжал Шувалов.— У них не было абсолютной. У них была большая, самонадеянная уверенность, но с маленьким привеском: «А вдруг?» Что же они в таком случае делают? Пять отверстий они закрывают, бетонируют полностью на тридцать метров. Пять же других отверстий они бетонируют не на всю глубину туннеля, а только там, где отверстия принимали воду со стороны верхнего бьефа... Для пользы дела одинаково: закрыть бочку с водой длинной затычкой или короткой. Одинаково это и для эксплуатации плотины: и при короткой заделке отверстия не пропустят воду. Но почему же все-таки не забетонировать полностью, как первые пять? Да вот из-за этого «а вдруг». Может быть, к этому времени оно усилилось — было какое-то новое продвижение наших войск. Но уверенность у гитлеровцев, что их отступление не дойдет до реки, еще существует. Будь иначе — к чему им возиться с плотиной? Однако и «а вдруг?» уже существует... Как же они поступают? Как легче, как проще. Помещать минную камеру в наглухо заделанном отверстии — большая работа: надо ведь будет много метров бетона отбить и потом почти столько же метров снова заложить. Проще поместить заряд в одном из мало заделанных отверстий, поместить даже в последний момент, закрыть его бетоном и ждать этого «а вдруг».

Михаил Михайлович замолчал и обвел нас глазами. Я вернулся к своей мысли о «забивке» и спросил:

— Почему же они это отверстие после закладки туда мины не забетонировали полностью? Для взрыва же выгоднее?

— Мы, конечно, только гадаем. Но, может быть, по-

тому, что они не успели. Это раз. А второе — чтобы быстрее извлечь мину, если опасность нашего наступления минует. А почему таких полузаделанных осталось пять, это понятно. Оставь они только одно такое из десяти — и мы сейчас и разведчики до нас сразу бы обратили на такое отверстие внимание. А гитлеровцы должны были подумать о маскировке мины, так как, собираясь взорвать ее в самый последний момент, они могли предположить, что плотина окажется в нейтральной зоне, то есть доступной для наших саперов-разведчиков.

29 января, утро

Вчера, уже ложась спать, подумал: бывают люди, которые, напав на какую-то мысль, догадку, начинают к ней подтягивать факты, доводы. Многие из них легко ложатся, приходится, как говорится, в масть — здание растет, крепнет, становится стройным. Но попадают факты и доводы, которые не хотят ложиться. Тогда их поворачивают и загоняют насильно. И вот из-за этих кривых кирпичей здание или рушится, или припадает на один бок...

Шувалов до войны, как передавали, был научным работником. А в кабинетной тиши это чаще всего, по-моему, и может быть. В самом деле, его рассуждение о минной камере в одном из полузаделанных отверстий мне вчера показалось стройным, убедительным, но сегодня вижу в нем натяжки, кривые кирпичи. Например, его довод: оставили все пять отверстий, в том числе и то, что с миной, полузаделанными из-за маскировки. Да почему? Ведь если отверстие минной камеры будет забетонировано полностью, оно тоже будет маскироваться присутствием других пяти таких же отверстий. Оно будет шестым полным. Следовательно, маскировка будет не хуже, а лучше: мы при разминировании должны были бы выбирать не из пяти, а из шести. А во-вторых, главное, (это Михаил Михайлович почему-то обошел): действие мины при полном закрытии будет сильнее.

И еще: можно, конечно, согласиться с майором, что мину гитлеровцы закладывали тогда, когда уже пять отверстий были наглухо закрыты. Конечно, они не отбивали тут метры бетона, чтобы положить заряд, а воспользовались как бы уже готовой камерой в одном из малозаделанных отверстий. Это так. Но, по-моему, ясно

также и то, что после закладки мины они должны были этот туннель заложить до конца.

Если так, то что же тогда получается со стройным рассуждением Михаила Михайловича о камере в каком-то из пяти полузакрытых?

Иду на место... И вчера и сегодня об отверстиях. Не много ли? И ничего о потернах...

29 января, вечер

У донных отверстий застал Карнауха и Иванцова с помощниками. Я не взял никого, так как меня интересовало то, что я мог и один увидеть.

Дело в том, что, еще подходя к плотине, я подумал: времени, когда немцы закладывали мину, мы не знаем, но, может быть, об этом расскажет работа их бетонщиков? Если мы это будем знать, то многое прояснится... У отверстий я был и раньше, но теперь надо посмотреть на них другими глазами.

Спустившись сверху в люльке и выйдя на шаткие длинные мостки, проложенные вдоль отверстий, я стал переходить от одного к другому. Глядя с берега, эти квадратные дыры, пожалуй, можно было назвать «отверстиями» в сравнении с громадными размерами самой плотины. Но тут, вблизи!.. Это, конечно, туннели, да и не маленькие! В любой такой туннель легко можно вдвинуть одноэтажный домик, впустить паровоз.

Я шел, останавливался, входил в туннели, всматривался в бетон. Вот туннель полностью заделан. Все тут старательно, добросовестно,— видно, что опалубка была разбита на звенья, на прямоугольные блоки, работа аккуратная, неторопливая, бетон высокого качества. В полузаделанные туннели пришлось входить с фонарем — даже дневной свет плохо освещал заделку внутри. Тут была совсем другая работа — небрежная, наспех, будто бетонщиков подстегивали. И бетон дурацкий — ноздреватый, с большим количеством раковин.

Мне кажется, можно было установить время: первые пять заделывались раньше, когда у врага была полная уверенность во владении станцией, а вторые пять — уже тогда, когда ему стало мерещиться «а вдруг». Значит, майор прав, мина может быть только в этих полузакрытых.

Но тем не менее мне все казалось, что туннель с минной камерой,— если только вообще она могла быть в

донных отверстиях,— гитлеровцы должны были заделать полностью... Я опять обошел закрытые туннели, стараясь найти наспех заделанные отверстия из того бросового, ноздреватого бетона. Попадись такой бетон на заделанном отверстии — почти стопроцентная гарантия, что заряд именно тут! В самом деле, подозрительно: и полностью заделано, и плохим бетоном. В сущности, и все доводы Михаила Михайловича оставались бы тогда в целости, так как такое отверстие можно было бы рассматривать, как б ы в ш е е полузаделанное.

Я искал ноздреватый бетон у закрытых туннелей, но нашел другое...

Старший лейтенант и Иванцов с солдатами находились далеко от меня, почти у левого берега. Они бурили или готовились бурить. Я один тут стоял на шатких мостках и не отводил взгляда от тоненького рубчика на бетоне...

Это было поразительно! Швы от опалубных досок на старом теле плотины, от досок, которые наши бетонщики убрали чуть не пятнадцать лет назад, и швы от досок на заделанном немцами отверстии с о в п а д а л и, составляли продолжение один другого... Что это — немецкая аккуратность или маскировка?

Правда, громадный квадрат — 5×5 метров — заделанного туннеля не скрыт, выделяется своим цветом. Но, может, маскировщики не рассчитали, маскировка со временем слезла, уничтожилась и я сейчас вижу остатки ее? Например, для сокрытия заделанных отверстий могла быть применена очистка сухим песком (в брошенных немцами складах мы ведь нашли пескоструйные аппараты!) всей нижней поверхности плотины, в том числе и пяти квадратов свежего бетона. Все становилось однообразным и по цвету и по фактуре. Но со временем от маскировочных работ сохранились только вот эти совпадающие швы, а новый бетон все же проступил.

Так могло быть. По-моему, в моих доводах не было кривых кирпичей... Но что же тогда получается? Рассуждение о спокойных и торопливых бетонщиках — чепуха! Именно спокойные, с усердием, не спеша, замуrowали тут или в другом таком же заделанном туннеле взрывчатку. Теперь выходит обратное: был прав я, а не Михаил Михайлович. Правда, и он и я строили вчера догадки, не зная об этих швах.

Такую же старательную подгонку швов я нашел и на

других четырех закрытых отверстиях. Ко мне по мосткам подошел хмурый высокий Карнаух, и я рассказал ему все, что заметил.

Он выслушал и не торопясь сказал:

— Так-то это так, но тогда получается, что фашисты совсем не верили в свой век! А ведь Гитлер говорил даже о тысячелетии... Я тоже вчера стоял за закрытые, но я не думал, что они такие разные с полузакрытыми и по времени и по работе.— Тут он вытащил из кармана шинели два обломка бетона — хорошего и ноздревого.— Лаборатории у нас нет, но сержант Лебедев на глаз определил, что этот вот, халтурный, помоложе будет, а настоящий — постарше...

— Ну, и что же вы думаете? — спросил я его.— Что собираетесь доложить майору?

Карнаух подошел ко мне хмурый, но сейчас, после наших новых сомнений, он словно повеселел.

— Я думаю,— сказал он,— что надо оставить всякую психологию. И прямую и обратную. Вчера, когда мы от майора разошлись, я голову себе тоже этим забивал. И сегодня с утра. А сейчас вижу, что мы с Иванцовым поступили правильно: начали просто бурить и будем бурить подряд все десять. До нас брали на два метра, а мы войдем буром на три. Если есть камера, то на трех-то метрах она, милая, покажется!

В 13.30, когда мы явились к майору, он так и доложил:

— Приступил к бурению и прошел пока четыре отверстия.

Я рассказал, почему в течение дня менялись у меня доводы «за» и «против».

Майор сказал:

— Ну хорошо, твердой гарантии ни за одну группу отверстий у нас как будто нет. Посмотрим, что покажет бурение. Пожалуйста, продолжайте его, Василий Тимофеевич!

Он обратился к Карнауху, и, может быть, без этого невоенного «пожалуйста» я бы не позавидовал старшему лейтенанту...

А тут подумал: и я бы мог предложить побурить на три метра.

30 января, вечер

Пробурили все десять — ничего. Карнаух расстроен. Я его понимаю — была надежда все равно как у охот-

ника или у кладоискателя. И все сегодня от него ждали... Как бы в оправдание, он стал поговаривать о потерях. В частности, заговорил о косом пятне свежего бетона на уровне верхней потерны. Об этом пятне я подумал еще на новоселье у Михаила Михайловича, но мы тогда быстро перешли на донные отверстия.

Майор приказал, хотя и с прибавлением «будьте добры», оставить поиски и умозаключения и начать вскрывать донные отверстия. Конечно, отбивку бетона вести осторожно — осторожно во всех десяти туннелях. Сейчас заняты планом работ, расстановкой сил.

31 января, ночь

Сегодня в девять часов вечера неожиданно показались «юнкерсы». Давно их не было. Опять на плотину, но опять зенитки перехватили их. Прорвался один и опять мимо положил, но все же наши мостки около донных сорвало. Плотники будут работать всю ночь.

На днях освобождены Тосно и Ново-Сокольники. Брат когда-то в Ново-Сокольниках был на практике и теперь переживает: что осталось? Что-то от Савицкого нет писем. Как там наши?

1 февраля

Ну, вот еще...

Фронт работ решили развернуть сразу на десяти участках. И по несколько бурильных молотков на каждом. Их не хватало. Хорошо было бы достать и лишний перфоратор. Снарядили Иванцова в город — завьяловские заводы стали уже съезжаться на свои разоренные места, и в одном из них, по слухам, было нужное нам. То, что нам дадут, не было сомнений — еще бы, такое дело! Но майор выказал щепетильность. Мало того, что Иванцову была заготовлена официальная бумага, Михаил Михайлович еще от себя написал директору завода письмо, где в деликатных тонах просил одолжить и перфоратор, и бурильные молотки, обещая вернуть в срок, в целости и т. д.

Но дело не в этом, а в том, что Иванцов, взяв два пакета и сговорившись с гаражом о высылке по его телефонному звонку грузовика к заводу, буквально через час, не вызвав машины, без всего явился к нам на плотину взбудораженный. Но по-особому взбудораженный. Смешливый, любивший с многозначительной улыбкой по-

молчать, если дело касалось серьезного, и сразу оживлявшийся при шутке,— тут Иванцов не был похож на себя: он был тих, строг, официален, и даже его желтый чуб был приглажен. Поэтому мы и поняли, что Иванцов взволнован и что-то произошло...

По его словам, было так.

В холодной приемной у директора завода оказался он и какой-то старик в овчинном полушубке, сидящий на табуретке. От нечего делать разговорились.

Старик с грустью признался, что он сирота, ни отца, ни матери у него нет. Это понравилось смешливому Иванцову, так как старик говорил серьезно, и он охотнее стал расспрашивать «сироту» далее. Тот оказался плотником, пришедшим узнать у директора, который его лично знал, вернется ли его сын из эвакуации или останется на уральском заводе.

Узнав, что старик при гитлеровцах жил недалеко от плотины, Иванцов спросил его, не видал ли он какой-либо их работы у донных отверстий.

Старик сказал:

— Работы не замечал... Редко тут бывал. Да и не подступишься — и днем и ночью охрана. А дыры эти, вроде окон, видел издалека, с левого берега, не раз. Их ведь в нашей плотине не было, а тут немцы, не спросясь, одиннадцать штук наковыряли!

— Десять, дедушка,— поправил Иванцов.

— Нет, одиннадцать! Верно говорю... Хоть сейчас пойдем проверим!

Иванцову показалось это забавным: старик хочет вести к отверстиям его, Иванцова!.. И, надо полагать, отвечал с превосходством:

— Да что ты, дедушка,— проверять! Ведь я же сейчас оттуда, мы там работаем. Мне-то не знать, сколько их! На этом стоим!

Этот тон, вероятно, поколебал уверенность старика, но он все же сказал:

— Ну, не знаю... Но только одиннадцать было. Считал, запомнил...

Тут и Иванцов, как он говорит, замер, затих: а что, если правда?..

Вот с этим, не дождавшись приема у директора, забыв про поручение, он сейчас к нам и явился...»

Аверьянову, сидевшему поодаль от Кузнецова, подали телеграмму. Он быстро прочел ее и, блеснув глазами, коротко взглянул на зал, как бы говоря: «И вы сейчас узнаете». В первой же паузе он остановил Кузнецова, приглашая и его послушать.

Он встал и ровным голосом, будто это была обыкновенная телеграмма, прочел поздравление правительства в ответ на вчерашний рапорт об открытии движения по шлюзу.

Раздались аплодисменты. Когда шум смолк, Аверьянов, взглянув на Кузнецова, сказал, что Алексей Христович сейчас будет продолжать.

Но началось не сразу. Кузнецов, кивнув на потемневшие окна, попросил лампу. Принесли настольную лампу. Но шнур оказался короткий, и появилась другая лампа, с большой связкой шнура. Осторожно распуская шнур, белобрысый паренек, принесший лампу, пятясь, дошел до штепселя.

Пока налаживали свет, Лиза не отрываясь смотрела на Кузнецова. Услышанное не предвещало надежды. Мины какие-то... Но поняла одно: и среди чужих людей, и на чужом месте отец был такой же, как дома. Но вчерашний гранит не за это же!.. И тут подступало какое-то новое чувство к отцу, которое она не могла понять. Она искала только отца, Павел — какого-то майора, но вчера — гранит, сегодня — люди в зале. Что же это, курс — норд?..

Рядом Витя говорил:

— ...надо было бы сделать сильный миноискатель. Ну, как ружье и пушка: ружье железо не пробивает, а пушка пробивает...

— Ах, оставь, пожалуйста!

Под рукой в кармашке платья Лиза вдруг нащупала две забытые конфеты, данные матерью ей и Вите. Она, не глядя, вынула их, подержала на ладони и снова спрятала.

— А мне? — Витя потянулся к кармашку.

— Чего? А!.. Да возьми!

Лампа на столе зажглась. Лиза отдала конфеты и, строго взглянув на брата, отстранилась — Кузнецов с тетрадкой в руках подсаживался к лампе...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

«2 февраля 1944 г.

Мы стали ждать старика сироту. Жителей мы опрашивали и раньше, но никто из них близко не видал, что делали фашисты: стояла охрана. Говорили, что работа была и днем и ночью. Минную камеру, надо полагать, бетонировали не днем. Отверстий никто из них не считал, видели их издалека, мельком и на наши расспросы отвечали: «Много». И вот какой-то старик сосчитал...

Он явился на плотину вчера же, часа два спустя после Иванцова. Лейтенант Иванцов, как ни был взволнован, все же догадался записать его адрес и сказать — непременно прийти на плотину. Старика звали Тихон Савельевич. Мы встретили его ласково, расспрашивали внимательно, но, конечно, он не мог указать, где находится одиннадцатое. Единственное, что было в какой-то мере ценно, — это то, что все одиннадцать отверстий, по словам старика, «лежали в ряд». И, значит, новое надо искать на том же уровне.

Майор слушал Тихона Савельевича как-то странно: с одной стороны, любезно, внимательно, с другой — недоверчиво. Расставаясь со стариком, Михаил Михайлович распорядился, чтобы Тихону Савельевичу дали пообедать в нашей столовой, и, пожав ему руку, горячо поблагодарил за сведения.

Вчера и сегодня были заняты поисками. Одиннадцатого или нет, или оно хорошо скрыто. Во всяком случае, цветом бетона, как пять заделанных отверстий, оно не отличается. Надо искать его границы. Но столько швов, и вертикальных и продольных, от старой, нашей еще опалубки!..

4 февраля

Одиннадцатого нет, но работа в десяти туннелях идет вовсю. Не знаю, не поверил майор Тихону Савельевичу или отложил поиски, но весь народ поставил на вскрытие донных отверстий. Иванцов еще раз съездил в город и действительно привез пневматику. Майор похаживает от отверстия к отверстию. У него такой вид, словно он смущен тем, что руководит, а не сам отбивает бетон.

5 февраля

Получил общее письмо от Бутузова и Зайченко. Спрашивают: когда я вернусь в часть, как жизнь на гидростанции, какие идут работы, нашли ли что в верхней потерне. Я показал письмо Михаилу Михайловичу. Он их не застал, не знал.

— Хозяйственные мужики! — сказал он. — Перерезали кабель, сделали какую-то работу и теперь справляются, была ли от этого польза... Но почему-то, вроде вас, думают тоже о верхней потерне!

6 февраля

Со вчерашнего дня перешли на трехсменную работу и в заделанных туннелях. Углубились уже настолько, что можно на ночное время позади себя ставить светомаскировку из фанеры и плащ-палаток. В полузаделанных ночная работа была и раньше.

Затрудняет вынимаемый бетон. Самое, конечно, простое — сбрасывать его в нижний бьеф. Но зачем засорять реку! А лома немало и впереди еще больше будет. Но мелочь все же сыплет — это река унесет. Крупное поднимают в люльках краны, стоящие на проезжей части плотины. Но это двойная работа. Оттуда надо лом увозить машинами. Кроме того, строители препираются с нами из-за кранов. И это верно: два так стоят, что им мешают...

Особенно смущает это майора. Говорят, что война всех равняет, накладывает общий отпечаток. Не замечал этого. По-моему, каждый приходит на войну со своим миром. Михаил Михайлович, вероятно, и раньше в жизни не мог представить, как это он живет, работает, двигается и кого-то стесняет, кому-то мешает. Так и тут он, с кранами...

Иванцов с загадочным лицом, ничего не объясняя, отпросился с работы на два часа. Не привез бы он нам двенадцатое отверстие!

7 февраля, 3 часа ночи

Только что вернулся домой. Ну и ночь!

В одиннадцать часов вечера я сдал смену старшему лейтенанту Карнауху и в двенадцатом часу пришел к майору с обычным докладом о работе. У нас отставала работа на девятом и четвертом отверстиях (мы их пронун-

меровали подряд, начиная с левого берега). Майор также спросил о седьмом. Это было естественно — оно вчера тоже отставало. Я доложил, что дела там пошли лучше.

Мы заговорили о транспортировке бетонного лома. Михаил Михайлович заметил, что лучше всего была бы проложенная по мосткам узкоколейка с вагонетками; и то и другое есть в немецких брошенных складах на правом берегу. Но куда дальше — берег крут и высок, а транспортера нет! Я сказал, что можно попытаться краном, стоящим уже не на плотине, а на берегу, вытаскивать вагонетки наверх, на берег. Это нехитрая идея, в которой, кстати, я был не очень уверен, так как отчетливо не представлял, как пойдет стрела крана, принесла истинное удовольствие Михаилу Михайловичу. И я понял, почему: он не будет «мешать жить» строителям. Он попросил меня завтра же попробовать, — конечно, пока без узкоколейки, с одной вагонеткой.

Михаил Михайлович в мягких туфлях, надетых вместо сапог, похаживал по своей неудобной комнате: кровать, три стула, стол, столик с телефоном, голые стены... Только у стола было как-то потеплее — горела керосиновая лампа с зеленым абажуром, лежали книги, чертежи. Может быть, он поймал мой взгляд, устремленный на лампу, и потому тоже посмотрел на нее.

— Да, вот под боком первоклассная, мировая гидростанция, — задумчиво произнес он, — а тут... керосин! Негодяи!..

Помолчав, он почему-то спросил о Чикильдееве: что это за человек был? Я знал того мельком и короткое время и ответил только: как многие водолазы, он был из матросов, довольно долго работал в Волжской флотилии, в партии с тридцать пятого года, женат, родился в Калуге. Ну, что же еще? К этим будто анкетным сведениям я прибавил и все остальное, что знал: играл на гитаре, сын учится в ремесленном на электрика.

Михаил Михайлович, похаживая по комнате, вдруг сказал:

— В Севастополе есть круглая панорама академика Рубо... Есть. Во всяком случае, была, не знаю, вывезли ли ее... Изображает она Севастопольскую оборону. Прежнюю оборону — от англо-французов, чуть не девятью лет назад. Ни самолетов, ни танков, и круглые ядра летят не торопясь — их даже глазами видно..

Но в общем, конечно, не солнечная лужайка, не праздник урожая! И убитые, и раненые, и атаки, и штурмы... Так вот, помню, старичок экскурсовод после объяснения важных и крупных событий, изображенных на панораме, обязательно просил обратить внимание на одно не приметное место. Тут, в стороне, на отшибе, на пустой желтой земле, была изображена одинокая траншейка и тщедушный солдат, который, перебросив через край траншейки свое ружье, вылезал в атаку. Лица солдата не было видно, только его рука с ружьем и спина, согнутая от напряжения. Маленький такой солдат, не страшный... Старичок экскурсовод говорил: «Он бы тут, в ямке, вполне мог пересидеть бой. Никто его не видит, не слышит — ни фельдфебеля, ни офицера рядом нет! Он один, сам с собой... А вот какая-то сила толкает его...» — Михаил Михайлович остановился в дальнем углу комнаты. — Вот и Чикильдеев вполне мог бы эти бетонные плашки не переносить, проводку не трогать, а скорее к воздуху, к жизни... Ну, идите отдыхать! Вы уже засыпаете!..

Это верно, глаза у меня слипались от усталости, но не было желания уходить от майора. Кроме того, мне тоже хотелось сказать о Чикильдееве что-нибудь хорошее — ведь я его хоть недолго, но видел. Но я уже все передал, что знал о нем, и, чтобы не уходить из комнаты, сказал то, что мог сказать и сам майор:

— Тоже какая-то сила...

— Да, и надо полагать, сильнее, чем там, в траншейке! Или, что ль, повиднее, поотчетливее: знал, что спасает...

На столе он заметил мою заявку и, не надевая очков, спросил, что это такое. Я сказал, что бачки с кипяченой водой нам надо завести для каждого отверстия. И снова заговорили о работе, о мелочах. Тут на столике зазвонил телефон. Я был ближе к нему и взял трубку.

— Лейтенант Кузнецов слушает! — сказал я.

До меня донесся отрывистый голос ефрейтора Головчатого из седьмого отверстия. Вглядываясь в мое, наверное, изменившееся лицо, майор подошел к телефону. Я положил трубку и сказал:

— Наткнулись на кабель.

— В седьмом? — быстро спросил майор.

— В седьмом.

— Карнаух говорил?

— Нет, Головчатый по приказанию Карнауха. Старший лейтенант в туннеле.

— Вызовите Карнауха!

Вызывая старшего лейтенанта, я вдруг подумал: «Как майор догадался, что в седьмом?» Шувалов взял у меня трубку. Он был спокоен, но голос другой, не Михаила Михайловича.

— Товарищ Карнаух? Работу в седьмом до моего прихода прекратить! Вывести оттуда людей. Поставить охрану. Выполняйте!

Пока мы, торопясь, надевали шинели, я успел спросить, почему майор подумал о седьмом туннеле. Он из-под книг на столе выдернул какой-то чертежик. На нем была изображена плотина со стороны нижнего бьефа, и внизу плотины десять заштрихованных и полузаштрихованных квадратов. На седьмом, полузаштрихованном, был поставлен синий крестик.

— Это немецкий? — спросил я, кивнув на чертеж.

— Почему немецкий? Просто мое предположение... Ну, это потом. Пошли!

Было два пути: длинный — по берегу, через обледелый, рваный бетон, к мосткам, и короткий — по плотине, к крану.

Мы спустились в люльке как раз над седьмым и застали тут какую-то торжественную, напряженную и страшноватую тишину...

Маленькой своей рукой майор резко откинул полог светомаскировки, и мы вошли в туннель, озаряемый аккумуляторными фонарями. Нас встретил Карнаух и доложил майору о случившемся. Впрочем, и без доклада все было видно. Не дослушав, майор шагнул в левый нижний угол и, присев на корточки, дотронулся до двух толстых кабелей. Под куском отвороченного бетона они лежали открытые примерно на три четверти метра. Черные их тела лоснились при свете фонарей. На одном из них виднелась немецкая соединительная кабельная муфта марки «АЭФ».

Майор выпрямился и, помолчав, приказал заголить изоляцию и проверить омметром. Сержант Мухин и толстый ефрейтор Головчатый пришли с инструментом. Один из кабелей оказался бронированным и осмоленным сверху. Головчатый, желая блеснуть знанием кабельных марок, сказал:

— Это, конечно, «СБС», хотя и черный.

Обнажились медные жилы проводки,— вот по этим безобидным проволочкам пошел бы ток, если бы не Зайченко и Бутузов... Карнаух с омметром в руках присел к оголенному и на всякий случай перерезанным жилам.

— Есть мина! — сказал старший лейтенант, вставая и пряча в сумку омметр.

Он сказал это как бы весело. В самом деле, было какое-то облегчение: долго искали — и наконец вот она... Вот она!

Перед нами была выщербленная нашими отбойщиками стена бетона в пять метров высоты и в пять ширины. По левому нижнему углу, закрываясь пятнадцатисантиметровым слоем бетона, подползали под стену черные провода, подползали к ней...

Мы пробыли тут еще с час, совещаясь, как дальше вести выемку бетона. Сегодня ночью решено было все работы в седьмом прекратить, а с утра поставить здесь лучших отбойщиков. Я с Карнаухом поспорил из-за некоторых кандидатур. Надо было не просто лучших, умелых, но и неторопливых, чутких к мелкой работе. Когда мы с майором уходили, Карнаух, который оставался с ночной сменой — работа в остальных туннелях шла обычным ходом,— шепнул мне:

— А все же она оказалась в полузаделанном!..

7 февраля

С утра в седьмом, после доклада майора, появился подполковник Тоидзе, потом несколько человек из строительной группы.

Отбойка стены идет осторожно. Попутно вскрывается нижний левый угол — черные провода идут внутрь, никуда не сворачивая.

Поездка Иванцова в город объяснилась. Нет, он привез не «двенадцатое отверстие», а транспортер! Об узкоколейке и вагонетках и он подумал. Но, зная город, приметил где-то брошенный, засыпанный снегом транспортер. Молодец! Теперь мне не надо устраивать опыты с краном. И Михаил Михайлович очень доволен...

8 февраля

Бетон кончился, пошли саперные мешки с песком. Черные провода уходят под мешки. Нашли обрезок запального шнура. Бетон снимали, можно сказать, хирургически. Или как на раскопках древнего города —

не повредить бы какую-либо стенную живопись. Мы тоже рисковали «повредить»: и проводка и найденный шнур могли оказаться маскировкой, а мина взлетит от какого-нибудь терочного, ударного, натяжного (и несть им числа) взрывателя... Теперь вот мешки. На боках саперных мешков — овальные, как на доплатах писем, черные немецкие штампы. И мешки вспарывали осторожно, но оказался только смерзшийся песок. Когда мешки убрали, опять встала стена бетона. Кабели — все туда же, в бетон, вперед, к минной камере...

9 февраля

И этот бетон кончился. Итого, считая вместе с мешками, прошли пять погонных метров бетона. Теперь понятно, почему бурение на два и даже на три метра ничего не дало! Ширина и высота донного отверстия тоже 5×5. Значит, вынули правильный бетонный куб величиной с большую и высокую комнату.

Но все ли это? Сейчас пошли высевки искусственного гранитного песка. Провода по-прежнему — вперед, теперь под песок. Кажется, это уже минная камера, но границы ее еще не видны. Из осторожности перешли на деревянный инструмент. Работают еще медленнее, осмотрительнее. Увеличили количество фонарей.

По мосткам тянут узкоколейку. Иванцов обещает сегодня-завтра все пустить в ход. Майор почти все время тут. И, конечно, больше у седьмого.

Февраль — бокогрей: слева солнце, справа мороз. А то — выюга.

9 февраля, ночь

И деревянный отбросили — саперы работают руками, голыми пальцами. Только на ощупь можно понять, что захватываешь — песок или в песке еще что-то. Инструмент, даже деревянный, не услышит, не поймет этого. Песок мокрый, полусмерзшийся, и у этих дурацких высевок острые края — пальцы у саперов бывают в крови. И холод — руки теряют чувствительность. Проводим частые смены. Начинают проступать контуры минной камеры.

11 февраля

Песок убран, и вот она во всей красе!

Пятнадцатиметровая комната с высотой потолка в

пять метров. Что же находится внутри этих семидесяти пяти — $3 \times 5 \times 5$ — кубических метров?

Мы молча стоим внутри камеры. Михаил Михайлович потирает руки, будто говорит, представляет: «Ну вот, пожалуйста!» Карнаух молчит, посапывая носом.

Перед нами черные штабели авиабомб. Аккуратная кладка: один ряд к нам тупыми мордами, другой — длинными телами. Взрыватели у бомб вынуты, и вставлены электродетонаторы. Каждый тщательно засмолен. Внутри штабелей те же высевки гранитного песка. Одни штабели выше, другие ниже, но бомбы везде одинаковы — по 500 килограммов. А всего их сто штук. Кроме того, тут 25 больших и 6 малых ящиков с толом. Вид у них мирный, будто с консервами или с табаком. Это «оживители» бомб.

Сто штук полутонных бомб и эти ящики! И все это внутри тела плотины, в многометровой бетонной «забивке». И внизу плотины, чтобы легче поднять ее на воздух. Да, негодяи не шутили, обещая взорвать «до основания». Неизвестно, что стало бы с окрестностями плотины, но сама она была бы снесена начисто и волны реки прошли бы через ее останки...

— Смотрите, как паук! — говорит майор.

В середине камеры на большом бомбовом штабеле лежит желтый, с восковым отливом, вероятно покрытый парафином, ящик, к которому — наконец-то их путь окончился! — подходят черные кабели. От ящика же, как паучие лапы, отходят во все стороны к штабелям, к бомбам, к ящикам с толом детонирующие шнуры. Это главный запал, от него все должно было взорваться...

Через час соберется комиссия, которая опишет найденное в минной камере. А потом уж убирать все это.

12 февраля

Если держать в руке конец нитки, то куда бы клубок ни покатился, по нитке можно найти его. Так было и с электровзрывной проводкой. Пока не было известно, в каком донном отверстии она начинается, трудно было найти тоненькую полоску нового бетона на громадной плотине, испещренной опалубными швами. Но вот конец нити в седьмом был ухвачен, и сразу стало ясно, куда и как покатился клубок. Пока шли работы в седьмом, вскрывалась и проводка, идущая отсюда. Два кабеля сразу от седьмого свернули направо, к правому берегу.

Они шли по фасаду плотины, в узком желобке, прикрытые 10—15 сантиметрами бетона.

Этот желобок обнажали шаг за шагом. И вчера было открытие. Проводка исчезла в 28-м пролете, где у немцев были большие приливы нового бетона. Просто новый потерялся среди нового. Но вот полоска вышла на наш старый бетон, нить снова была ухвачена, и желобок стали открывать дальше и дальше. И вдруг в пролете между 25-м и 26-м бычками все кончилось — ни полоски, ни желобка, ни кабелей... Проводка уходила в тело плотины. Но каким образом?

Стали всматриваться и заметили чуть отличную от старого нашего бетона большую квадратную нашлепку. Заметили младший лейтенант Ольшевец и сержант Костюков. Когда узнал об этом Иванцов, он прибежал к месту события возмущенный.

— Одиннадцатое отверстие! А моему старику сироте не поверили!

Да, одиннадцатое, но куда меньше размером, чем остальные десять! Пробурили, исследовали — закладка бетона неглубокая. Вчера же стали вскрывать. Тоже с оглядкой — могла быть вторая минная камера.

Сегодня все разъяснилось. Относительно разъяснилось. Саперы с Ольшевцом проникли в одиннадцатое через проломленную ими дыру наверху. Влезли, осветили фонарями. Это оказалось не донное отверстие — оно не пробито насквозь, и впереди лежит наш старый бетон. Это небольшая и пустая штольня, похожая на ту камеру, которую мы нашли в нижней потерне, но побольше и подлиннее. О назначении ее можно только гадать. У нас были сведения, что гитлеровцы на станции перемещали свои мины и что в последнее время они испытывали недостаток во взрывчатке. Возможно, по первому плану они собирались взорвать плотину рассредоточенными зарядами, — может, и еще где есть такие заготовленные камеры, — а потом всю взрывчатку, кроме содействующего заряда в нижней потерне, сосредоточили в седьмом отверстии.

Объяснилось и с проводкой от седьмого. Полоска потерялась по той же причине, как на 28-м пролете, — новый бетон на новом не виден. А желобок не исчез — он оказался намного глубже, чем 15 сантиметров.

Короче говоря, сейчас Ольшевец гонит желобок опять по фасаду плотины к правому берегу. Скоро он дойдет

до места «имени Бутузова и Зайченко». Как и можно было думать, кабель от направления на верхнюю потерну мог свернуть. В данном случае на фасад... Да, темной ночью 17 января ребята резали проводку, спасали плотину от взрыва, но не знали от какого взрыва! Вот бы им зайти в седьмое, полюбоваться! Но они далеко — на днях взяли Никополь.

13 февраля

Однако не рано ли говорить о спасении плотины? Да, кабели перерезаны, нет ни источника тока, ни дороги для него, но ведь пока что весь заряд находится в теле плотины, и кто знает, что будет, если начнут его убирать оттуда! Можно представить гитлеровца, который хлопотал, распоряжался тут, приказывал поумнее расположить бомбы и ящики с толом, засмолить электродетонаторы, отвести провода от главного запала... Он, конечно, верил в свое имущество — в эти полутонки, которые разрушали наши города. Он верил, что электроток дойдет до его бомб и тола, но мог «на всякий случай» заложить где-то тут взрыватели-сюрпризы. И тогда то, что не удалось врагу, мы сделаем сами, своими руками...

Вчера около нашей находки в седьмом Михаил Михайлович говорил об этом. Мы стояли возле главного запала. Желтый ящик все так же лежал на центральном бомбовом штабеле, но шнуры, идущие от него во все стороны, были уже перерезаны. Высевки гранитного песка по-прежнему доверху, до дна ящика, закрывали штабель.

— Вот удачное место для психологической ловушки! — сказал майор. — Что мог предположить какой-нибудь немецкий обер-лейтенант, руководивший этим минированием? Кабель почему-либо выведен из строя, взрыв не состоялся, советские войска занимают плотину, находят минную камеру, и вот сюда входят люди. Мы с вами входим. Что мы видим? Ага, главный запал! Провода от него во все стороны, ко всей взрывчатке. Что мы, по мнению обер-лейтенанта, должны были бы сделать? Перерезать все эти паучьи лапки.. С удовольствием перерезать и успокоиться. В самом деле, полная гарантия: подрывная станция, которая должна была по кабелю послать ток, не существует, сам кабель вышел из строя. И вот наконец перерезаны все шнуры от главного запала. Тройная гарантия, когда вполне достаточно обез-

вредить только одно — или станцию, или кабель, или запал. А тут все три! Что же дальше? А дальше, товарищи, давайте всю эту чертовщину выгребать отсюда. Давайте разбирать штабеля, как дрова. Ну, конечно, сперва ящик с перерезанными отводами. Был он страшный, был он главный запал, а теперь просто тара...

Михаил Михайлович говорит шутливо, но я вижу, что ему невесело. Вдруг и я понимаю: «элемент неизвлекаемости»... Казенное, сухое, но правильное название. Есть взрыватели, рассчитанные только на неосторожность, а есть как бы посмеивающиеся над человеческой беспомощностью: и догадывается человек и даже, может быть, видит, а сделать ничего не в состоянии! Извлекаемое не извлекается...

В самом деле! Все промежутки между бомбами в штабеле заполнены песком, и сам ящик плотно стоит на песке. Да, все шнуры усердно, с удовольствием перерезаны... А что под дном? И узнать нельзя. Какая-нибудь тонюсенькая проволочка, из-под дна ящика уходящая в песок, так и останется н а в с е г д а невидимой: не поднимая ящика, ее не увидишь, а подняв — все взлетит...

Я посмотрел на майора, и мы молча поняли друг друга...
— А может быть, ее там и нет! — сказал Михаил Михайлович и улыбнулся.

Мне это, по правде говоря, не понравилось: кому это он говорит и зачем? Что он, сам не знает, что при разминировании имеет значение только «нет», а всякие «может быть» — все равно что «да»?

Вчера начали убирать из седьмого взрывчатку и бомбы, не имеющие скрытого соприкосновения со штабелем, на котором лежит бывший главный запал.

Мы его уже называли и «бывшим» и «тарой», а он спокойно себе лежит, лоснится желтыми боками и не уходит из памяти. Сегодня даже видел его во сне... Вхожу в седьмое — там никого нет, полумрак, капает где-то вода. Запал еле виден, но все же заметно, что он желтый. В нем раздается какое-то постукивание, точно маленькие человечки хлопочут там... Ящик чуть шевелится, вздрагивает и озаряется изнутри тихим желтым светом. Оттуда доносится еле слышная и какая-то дурацкая музыка, вроде комариной чечетки, и свету все больше, все желтее... Будто бесшумная и медленная вспышка...

Сегодня продолжали убирать из седьмого, кроме, конечно, центрального штабеля. Вчера заметил на берегу кинооператора в толстой медвежьей куртке. Долго скучал, мерз на снегу. Сегодня после обеда, когда проглянуло солнце, он что-то снимал. Иванцов, которому до всего дело, говорит, что оператор хотел снять выемку бомб из минной камеры. Но вчера ему мешала пурга, а сегодня, при солнце, эту работу он уже не застал. Снял только майора, когда тот опускался в люльке в седьмое отверстие. В словах Иванцова слышалось неприкрытое сожаление, что его в этот момент не было в люльке...

Да, из седьмого вынесено все возможное. Центральный штабель и желтый запал на нем не тронуты. Что же дальше? Майор или молчит, или говорит о пустяках...

В шесть часов вечера мы уходили из седьмого последними — оставалась только охрана. Майор зябко ежился, — может быть, потому, что, понадеясь на солнечный день, был в меховой безрукавке. По мосткам он обошел все остальные отверстия, где по-прежнему шла выемка бетона. Но обошел невнимательно, почти не глядя. Только сказал Иванцову, который оставался на вечернюю смену:

— Сегодня получены сведения об опросе новых пленных. И удачно — тех самых, что работали тут. Подтверждают, что заряд только в седьмом, в других нет. Темпы можно ускорить, но внимание прежнее. Мало ли что...

Когда подошли под кран и стали ждать люльки, Михаил Михайлович, протирая очки, уронил их и разбил одно стекло. Понятно, что может быть досадно, но он даже побледнел, будто невеста какая ценность! Стал спрашивать, где или у кого можно достать очки. За медсанбат я не ручался, аптека в городе пока небогатая, но, конечно, и там и здесь можно заказать новые стекла. Майор махнул рукой: «Да, но это когда-то!»

У крановщика Бутеева, который поднял нас на платину, Михаил Михайлович попросил примерить очки. Бутеев, ничего не понимая, дал. Стекла оказались не те. Надев оставленную тут шинель и застегнувшись, майор постоял, раздумывая. Не любивший обязываться,

он вдруг попросил Бутеева поискать у кого-нибудь очки.

— Вы тут местный, знаете людей,— может, удастся... Пожалуйста, Петр Никифорович, голубчик, устройте! Стекла 1,25... Я сейчас вам запишу. Скажите — только на один день, на завтра. Потом я закажу себе. Буду очень благодарен.

Он начал что-то писать на листке блокнота, а я стоял и повторял про себя: «На завтра, на завтра». Не знаю почему, но я ничего у него не спросил. Впрочем, что же было спрашивать?..

Я пошел прямо к Карнауху посоветоваться. За эти два дня я передумал разное, и, по-моему, было только два средства — или выдуть песок воздухом, или вымыть его из гидропульта. Я рассказал Карнауху и про майора и про песок. Старший лейтенант проворчал:

— До войны три дня скакать нужно, а у нас она дома!

Мы проговорили с час и пошли на улицу Шевченко. Михаил Михайлович в синей полосатой пижаме сидел за столом и писал письмо. Без очков ему было трудно, и он сидел сильно откинувшись. Нашему приходу он был, по-моему, рад и, отодвинув письмо, просил садиться.

Мы заранее обсудили, что будем говорить майору, Карнаух пространно стал говорить о том, что ему уже не раз приходилось иметь дело если не с такими, то с похожими случаями. Он даже привел эти случаи, бывшие с ним за войну. По его словам, они были похожи, но я-то знал, что это не так... После этого я сказал о воздухе и гидропульте. У майора должно было создаться впечатление, что есть люди сведущие и умелые, и именно они, а не кто другой, это и сделают.

Мы замолчали, ожидая ответа. Лицо майора стало светлеть, на большом его лбу разгладилась хмурь. Он опустил глаза и отвернулся, стал смотреть в темное, уже ночное окно. Он подошел к нему, будто там, в черноте, было что-то интересное, и тут же вернулся к нам. Глаза его блеснули.

— Ах, дорогие мои! — Он обнял Карнауха и меня и так, молча, улыбаясь, стоял между нами.— Белые нитки видны! Но все равно хорошо... Но имейте в виду, что у майора самонадеянности по чину должно быть больше, чем у лейтенантов. Кроме того, ему поручены донные отверстия. Кроме того, в штатской своей жизни

майор привык иметь дело с крайне хрупкими и крайне мелкими вещами. И еще одно, Василий Тимофеевич,— обратился он к Карнауху: — Риск бывает разный... В одном проиграл — жизни нет. А в другом — и жизни и еще чего-то... А у нас это «чего-то» — большое, длинное, в полкилометра. Сами строили...

Он прошелся по холодной своей комнате и уже другой, словно успокоенный, остановился около меня.

— Что касается воздушной или водяной струи... думал об этом. Но слабая струя эти гранитные высеки не тронет, а сильная может натянуть проволочку, если она там есть... А это, как говорят, нехорошо... Ну, идите спать! — Он прошел к столу.— Рисую вот письмо с птичьего полета, мучаюсь. Пишу домашним, чтобы выслали при случае запасные очки, которые я забыл. В удобной очень оправе...

Когда мы вышли за ворота, улыбнулись. Высылка «при случае» очков — тоже белые нитки! Нас же он и подбадривает!.. Мы решили завтра все это продолжить, возобновить разговор.

15 февраля

В 12 часов дня все работы в донных отверстиях, наверху плотины, на станции, на разборке рваного бетона — все работы радиусом на два километра были прекращены и люди уведены далеко от места работы.

В седьмом туннеле почему-то собралось много народу. Правда, нашлась работа. Я следил за ней, так как она делалась по распоряжению майора; интересно было угадать: зачем? Иванцов со стариком сержантом Лебедевым установили свет — два аккумуляторных фонаря слева и справа освещали желтый ящик, находясь на уровне его дна. Это было разумно. Лейтенант Ольшевец с саперами плотно закрывали светомаскировочными щитами вход в отверстие. Был день, но, вероятно, майор опасался ветра. Толстый ефрейтор Головчатый принес три ведра горячей воды. С последним ведром — ручной гидропульт. Это тоже было понятно, но ведь вчера майор от этого отказался! И почему горячей?..

Майор легко похаживал по шершавому бетонному полу, распоряжался, пошучивал, посматривал поверх очков. Не хватало на нем белого халата — так все напоминало приготовление к операции. Я взглянул на его очки и улыбнулся — сегодня утром Бутеев просил меня:

«Не говорите майору, что очки бабьи, только у кладовщицы такой номер нашелся!»

Все было как-то легко, дружно, будто нет ни штабеля из полутонок, ни желтого дьявола на нем. И не надо было мне подходить к Иванцову. Но он позвал меня к выходу, подальше от народа. Здесь, на примусе со счетверенной горелкой, стояло ведро с горячей водой. Иванцов будто просил меня в чем-то помочь ему. Но, когда я подошел, он сразу спросил, кто же останется у запала. И, не дожидаясь ответа,— может, в оправдание своего вопроса,— заговорил о том, что, если прикажут, он, конечно, останется, если же добровольно, то нет...

— Я на Кавказе и под Синельниковом два раза подрывался на минах. Правда, повезло... И в третий раз пойду, хоть сейчас. Но там я, и всё! Был и нет. А тут — плотина... Думайте про меня что хотите, но я так говорю...

Обычно румяное, готовое к улыбке лицо его было сейчас бледно. Я просто не знал, что ему сказать, но легкость, что была минуту назад, куда-то исчезла. В самом деле — плотина!.. Майор вчера то же самое говорил: не только жизнь, но и плотина... Я начал было отвечать Иванцову, но и он и я почувствовали, что за спиной что-то происходит, и мы обернулись.

Мы увидели майора, окруженного теми, кто был в туннеле. Когда мы с Иванцовым подходили, я услышал слова Михаила Михайловича:

— Нет, об этом и речи не будет... У кого дети, с теми не разговариваю, уходите! А из остальных мне надо одного помощника.

Подходя, я переглянулся с Карнаухом, и тот, выдвинувшись вперед, хмуро глядя на майора, будто напоминающая о вчерашнем отказе, глухим голосом сказал, что есть другой вариант: нас двоих — его и меня — оставить в туннеле. Оставить одних.

Майор отступил на два шага и встал как бы перед строем. Лицо его было строго, сурово, руки он держал по швам.

— Вариант один, и он не обсуждается! — Он сказал это, не глядя на Карнауха.— Кто из вас один хочет остаться со мной?

Мы все сделали шаг вперед. И розовый, похожий на девушку младший лейтенант Ольшевец, и пожилой сержант Лебедев, и толстый, с красным лицом ефрейтор Го-



ловчатый, который, так же как Карнаух и Лебедев, из-за детей не должен был выходить вперед. Помедлив и выразительно взглянув на меня, как бы подтверждая все то, что он только что мне говорил, шагнул вперед и Иванцов.

Майор, оглядев нас всех, криво усмехнулся, — нет, это было не вчерашнее: «Ах, дорогие мои!» — помедлил раздумывая. Этой паузой воспользовался какой-то сапер из роты Карнауха, круглоголовый, в рыжих веснушках. Он спросил:

— Разрешите?

И, когда майор кивнул, он не торопясь, с достоинством сказал:

— Я, товарищ майор, понятия не имею что такое дети! Я абсолютно и совсем холостой...

На лице Михаила Михайловича мелькнула вчерашняя добрая улыбка. Обходя взглядом тех, которые не должны были выходить, он оглядел нас, остальных.

— Ну хорошо, остается лейтенант Кузнецов. Другие свободны.

Я вышел из строя. Остальные не тронулись с места.

— Выполняйте! — громче и строже сказал майор.

Все ушли. Майор прошелся по туннелю. Сняв меховую перчатку, он попробовал пальцем горячую воду в ведре и снова сунул руку в перчатку. Я ему сказал:

— Люди не уходили из-за несправедливости: все ведь знают, что у вас тоже есть дети!

Он сказал:

— Это верно. Но не так просто... Я отвечаю не за себя, и, если что случится с плотиной без меня, не только людям, но и детям на глаза не покажешься. У того вашего, что усы колечками, тоже был выбор... Впрочем, дорогой мой, ничего не случится! Это вы запомните! Одно вот только — пожалуйста, грейте руки! Тут тепло, но все равно грейте. Руки — это все...

Он познакомил меня со своим планом. У него был расчет на то, что толстый слой гранитных высевок под дном ящика за долгое время лежания должен был осесть, и если от дна ящика отходит внутрь штабеля проволочка, то она ослабла. Следовательно, чуть приподняв запал, мы не натянем проволоки. Весь вопрос, насколько ящик осел, насколько ослабла проволока — можно ли ее перерезать? Чтобы увеличить осадку, надо попытаться разрыхлить холодный песок горячей водой.

С этого мы и начали. Мы сняли шинели и, как слесари и монтеры, сложили их комом на пол. Остались в меховых безрукавках. Я наполнил гидропульт горячей водой и стал тихо накачивать его. Михаил Михайлович, поднявшись на низкий помост, который соорудили наши плотники вокруг штабеля, обходил со шлангом, как садовник клумбу, желтый запал и лил около дна. Ящик стал окутываться паром — так и казалось, что он, как во время фокуса, сейчас исчезнет. Но увы...

С каждой стороны ящика майор сделал в песке небольшие желобки-углубления, и мы несильной струей погнали воду под ящик. Михаил Михайлович повторил это несколько раз, прося давать струю все слабее и слабее. Скоро показалась вода у наших ног — из-под штабеля. Майор опустил шланг. Я перестал качать.

— Ну, теперь посмотрим.

Он сошел с помоста и прошелся вокруг запала, всматриваясь в него. Оглянувшись на урчащий примус и, подойдя, потушил его. Примус мне тоже мешал. Сразу стало очень тихо. Я вспомнил, что сейчас все живое отведено от нас на два километра.

Майор погрел свои маленькие руки над горячим ведром и, подняв с пола, где лежали наши шинели, длинный сверток в парусине, взошел на помост. Я сделал то же самое — погрел руки и поднялся на помост с другой стороны. На мокром песке он развернул парусину. Там лежали тонкие ножницы с длинными ручками и стопка гладких фанерных дощечек. Мы условились, как будем поднимать запал. Михаил Михайлович посмотрел на фонари, слева и справа бросавшие резкий свет на низ ящика. Я тоже посмотрел.

Спокойно и строго взглянув на меня поверх очков, майор, примяв песок, подвел указательные пальцы под свои два угла ящика. То же самое сделал и я с другой стороны запала. Голова майора плавно опустилась за ящик. Я видел только светлую прядь волос, блестящую над его большим лбом. Я тоже опустил голову. Мы теперь из-за ящика между нами не видели друг друга. Желтый, проклятый, лоснящийся от парафина, он был от меня на расстоянии вытянутых рук. Пальцы чувствовали теплый, влажный песок, но внизу был холод — живот и колени касались промерзших за зиму черных полутонок.

По сигналу майора мы стали приподнимать свои углы. С вниманием, которого не было и не будет в моей жизни, я смотрел в тонкий, не толще спички, просвет, образовавшийся между песком и дном ящика. Мы еще чуть увеличили расстояние. И вдруг справа и слева брызнули в просвет лучи наших фонарей. Я увидел в конце просвета острые, нечеловеческие, какие-то светящиеся глаза майора — наверное, и у меня такие! — и между нами тоненькую, какую-то бесцветную проволочку... Да, без очков такую невидимую майор не заметил бы...

Она шла из-под середины дна ящика вниз, в песок. При свете было видно, что тут, под серединой, песок осел больше, чем под краями запала, и проволочка была оголена на большую длину, чем ширина нашего просвета. На такую длину, что можно было заметить состояние

проволочки — она была ослаблена, чуть изогнута дужкой. В глазах майора, которые я видел за дужкой, произошла перемена — внимательные, но уже по-обыкновенному, даже с усмешкой. Я понял причину — дужка! И усмешку: обер-лейтенант не хотел дужки, а она есть...

— Так держать! — тихо сказал майор.

Я знал, что можно и не так держать: дужка давала возможность поднять ящик еще на несколько миллиметров, и ослабленная проволока не натянулась бы. Но я застыл в прежнем положении пальцев. Теплота песка прошла, и осталась холодная сырость. В просвет я видел, как Михаил Михайлович, освободив одну руку, подложил, следя за проволокой, фанерные дощечки под этот свободный угол ящика, затем — под другой. Освободив обе руки, он быстро и энергично потер их друг о друга, взял длинные тонкие ножницы, просунул их в просвет и медленно стал надвигать полураскрытые их ножи на проволоку.

Как только они коснулись дужки, он с тихим хрупом перерезал ее.

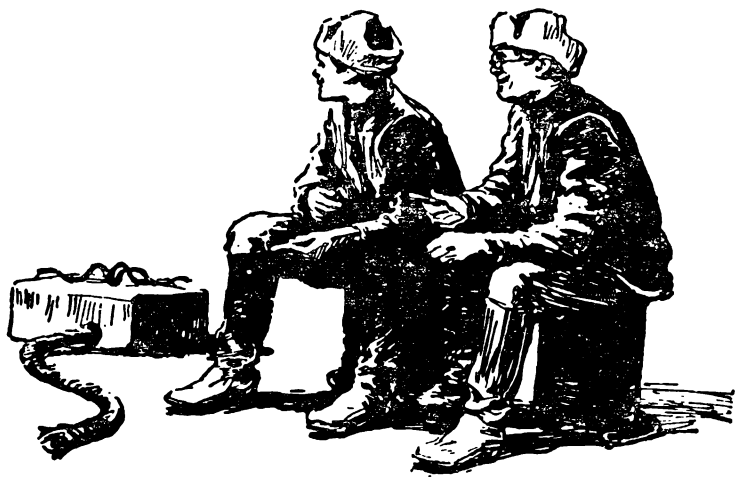
От авиабомб, которых мы сейчас касались телом, навсегда отлетела их страшная жизнь...

Мы сняли ящик со штабеля и почему-то положили его не рядом, а отнесли к выходу. Теперь его разберут и выбросят. Может, потому и ближе к выходу, чтобы скорее выбросить.

Мы присели на перевернутые ведра и закурили...

Я смотрел на эту желтую гадину у выхода, которая мне даже во сне снилась, и думал. Мы несколько лет строили плотину — гигантский труд, средства; желание сделать по-своему жизнь... И вот приходит какой-то мерзавец, тихо накладывает штабели взрывчатки, ставит эту желтую дрянь и уходит. Почему? Мы ему мешали? Какое у него право?

Мы сидели на ведрах, опустив руки, как землекопы, между колен. Странное дело — ничего не делали, а усталость... Вдруг Михаил Михайлович тихо засмеялся, я тоже, и тоже неизвестно чему... Он встал, будто конфузясь этого смеха, и пошел к нашим шинелям — становилось прохладно в одних безрукавках. Когда он в распахнутой шинели вернулся к ведрам, на лице его было счастье. Может быть, только сейчас пришло, почув-



ствовалося настоящее облегчение. И тут захотелось скорее всех обрадовать, всем сказать — ведь за два километра все притихли и ждут.

Мы распахнули фанерную дверь, вышли наружу. Какой сияющий свет! Солнце на снегу, голубое весеннее небо... Но полная тишина и безлюдье. Только не замеченный постовыми солдатами мальчик с собакой на берегу. Кому же сказать?

— Так к нам же телефон проведен! — воскликнул Михаил Михайлович.

И мы, смеясь, побежали обратно в туннель.

20 февраля

После того дня все кажется спокойным, мирным. Даже болезнь майора. Был сегодня у него в госпитале. Болезнь — длинное латинское название, но так — перемежающаяся температура. Спрашивал меня, как дела в донных — какие впереди, какие отстают. Я наконец спросил его о том, о чем давно собирался, но как-то все были служебные разговоры. Ну, а тут, в палате, легко. Спросил, почему он угадал, что минная камера должна быть именно в седьмом. Он сказал:

— Всякая работа начинается в кабинетах. Какой-то

обер-фюрер, который решил снести нашу плотину, не пришел на место и не положил взрывчатку в первую попавшуюся на глаза дыру. Нет, он взял план плотины и засел в кабинете. Я начал с того же — взял план и подумал над ним. Конечно, он захочет расположить камеру в центре плотины — это раз, и второе, о чем мы много говорили, — в полузаделанном отверстии. Посмотрите на план — седьмое как раз и отвечает этим условиям. Кстати, когда вы смотрите с берега на седьмое, то перспективой оно сильно отодвигается от центра. А по плану оно центральное. Ну, а третье — немцы сами подтвердили это... Нет, не пленные, а раньше еще, немецкие летчики... Несколько раз бомбили и всё старались положить на седьмое отверстие или рядом. Рассчитывали на детонацию. Я опрашивал тех, кто застал первые после их отступления бомбежки, а последнюю я сам видел. Да, около седьмого, но далеко. Не получилось. Но полной уверенности, конечно, у меня не было. Помните, Иванцов сказал об «обратной психологии»? Могло быть и это...

23 февраля

В военной жизни все быстро.

Сегодня все офицеры вместе с подполковником Тоидзе ходили прощаться с майором — они уезжают без него. Часть получила новое назначение — завтра выступает. Да и надобность в специальной военной части прошла — собрались и каждый день прибывают прежние и новые строители гидростанции. Масса народа. Они и будут продолжать. В частности, работа в донных им уже сдана.

Я тоже на днях возвращаюсь к себе. Конечно, не возвращаюсь, а догоняю. Они уже взяли Кривой Рог. Недавно оттуда было письмо. Спрашивали о плотине. Будет что рассказать! Срок прибытия мне дан такой, что если майора на днях выпишут из госпиталя, то будем догонять своих вместе. И на каком-то перекрестке разедемся. А жаль — свыклись за это время...

На прощание с Михаилом Михайловичем кое-что принесли. Главным образом — папиросы. Карнаух — зажигалку-полуавтомат, которые теперь в ходу.

Один я ничего не принес, чтобы не было у Михаила Михайловича впечатления, что все завтра уезжают.

Вчера отбыли. Был сейчас в госпитале. Михаил Михайлович спрашивал, как уезжали, не забыли ли чего. Я рассмеялся: это только в штатской жизни можно забыть чемодан! Ему лучше: врач говорит, что если и дальше так, то через три-четыре дня могут выписать. Прекрасно! Едем тогда с майором вместе хоть полдороги!

2 марта

Сижу в вагоне один. Действительно, полдороги! И короткой!

Что же говорить! Вспоминаю смех его в седьмом донном и счастливое лицо, когда он подошел в шинели нараспашку. И день солнечный, и мальчик с белой собакой, и мы, смеясь, бежим к телефону... Полдороги! И на станции Весняна, которую он сам же выбрал...

Он выбрал эту узловую станцию, чтобы дальше и ему и мне ехать без пересадки. Всего пятьдесят пять верст по хорошей дороге. Машина довезла нас до привокзальной площади, и шофер уехал обратно.

Кругом было разрушено и обожжено, но уцелел какой-то садик со скамейкой в снегу. Старуха в белом полушубке показала, где до немцев был забор у ее сада. Я оставил Михаила Михайловича здесь — после госпиталя ему было трудно еще ходить — и пошел в воинскую кассу.

Прошло минут десять — пятнадцать. Я получил билеты... У станции не было сирен, были паровозы. Они замычали все разом, на всех путях. Я выбежал на перрон.

Шестерку «юнкеров» гнали наши истребители. Облегчая машины, гитлеровцы сбрасывали бомбы куда попало. Раздалось несколько взрывов — в линейку, грядой, друг за другом, и все исчезло. Меня воздухом отбросило к фасаду станции, на какие-то тюки. Я поднялся.

С двумя билетами я подбежал к садику. Ничего нет. Даже скамейки. Дымятся обожженные деревья...

Сперва я нашел наши обугленные чемоданы, потом в стороне — его.

Хорошо одно — моментально... Случайно на снегу рядом подарок Карнауха — зажигалка-полуавтомат. Но ее некуда было и положить...

Собрались люди. Старуху в белом полушубке так и не нашли. Может быть, потом, без меня...

Я должен был спешить в часть, но задержался до утра — мне хотелось сделать последнее для Михаила Михайловича. Но что бы я мог один! Прекрасна, чиста да и необъяснима любовь! И к кому? К постороннему майору, который пятнадцать минут побыл где-то рядом, в одном поселке с ними! Помогли рабочие из железнодорожного депо, ну, и, конечно, женщины. И так по-родному...

Когда опускали, я сказал то, что знал, что думал об этом человеке. Меня вызвала на это не взрытая земля, не обязанность, а добрые люди вокруг. Нет, объяснима любовь, не пятнадцать минут был он в их поселке, он прожил с ними всю жизнь, большую жизнь соотечественника.

Сижу в вагоне один. За окном снег и снег — все плывет в глазах...»

Глава десятая

НЕОТСТУПНЫЙ, КАК ТОТ НА САНЯХ...

1

Через три дня после вечера в клубе четырехугольная «эмка» катила по прохладной дороге с длинными, предзакатными тенями от столбов и кустарника. Большое красное солнце, подернутое тонкими золотистыми стежками облаков, опускалось над серо-синим неровным пологом, который пока не двигался, не поднимался от горизонта. То вечер ждал своего времени.

«Эмка» вместила всех. Витя пристроился у Всеволода Васильевича на коленях и вертел треугольное, поставленное на ребро стекло кабины, забавляясь тем, что в одном положении стекла ветер сильно задувает внутрь кабины, в другом, хотя окно открыто, он куда-то исчезает. Лиза сидела у левого окна, обращенного к солнцу, и следила за дорогой — за той последней дорогой... Вот и этот куст стоял, только тогда он был меньше и на снегу... Вот три клена мимо, и тогда мимо... Она отвела взгляд от окна. У сидящих впереди, шофера и Кузнецова, от закатного солнца розовела левая щека. А у

Алексея Христофоровича и белая фуражка отливала розовым. Какой он теперь другой для нее...

Хотя все знали, куда едут, но как-то так, будто по уговору, говорили о другом. Софья Васильевна расспрашивала Кузнецова о жене, о доме. Тот отвечал охотно, но иногда бегло, смущаясь неустройством жизни, не так, как у других: жена еще студентка, хотя и четвертого курса, видятся только летом и на студенческие каникулы, детей нет, семья пока условная.

Потом заговорили о работе. Всеволод Васильевич спросил о конвейере, который на днях введен у Кузнецова на фабрике. Разговор пошел долгий и, видимо, для Кузнецова не новый. По его словам, руководству фабрики еще не было ясно, как при конвейере будет сочетаться личная, возрастающая производительность труда с общей работой конвейера.

— Даже если предположим, что на конвейере одни передовики труда,— сказал он,— то и тогда вопрос еще не решен. Ведь они разные люди! Я могу сегодня выработать на десять процентов больше нормы, а вы уже можете на двадцать — вы меня ждите! Завтра я на тридцать — я вас буду ждать. Нельзя же вводить регламент на личную инициативу, умение, желание...

— Если вы не против конвейера, то это, по-моему, можно разрешить,— улыбаясь, сказал Всеволод Васильевич.

— Ну, кто же против!

— Смотрите сюда!

И Всеволод Васильевич, вынув блокнот и пересадив Витю на другое колено, всем своим большим телом нагнулся к Кузнецову. Тот с недоверием стал смотреть в блокнот на линейки и кружки, появляющиеся под карандашом дяди Севы. Некоторое время он и слушал рассеянно: все это известно, а дальше что? Но вот у каждого пятого кружочка стал появляться шестой.

— Понимаете? Добавочная люлька для необязательной детали,— сказал Всеволод Васильевич.— Кто хочет, кто может, кто выиграл время на обработке обязательной детали. Это, возможно, еще не идеал, может, для дифференциации к добавочной надо еще добавочную, но обувь, я знаю, уже так делают... Вот пригодно ли это к вашей продукции?

И тут Кузнецов, насупившись, стал внимательно

смотреть в блокнот, на карандаш, от которого ходила длинная, перечеркивающая бумагу тень.

Он сидел полуобернувшись к Всеволоду Васильевичу, и загорелое лицо его с толстыми губами было все, до белков глаз, в красном свете заката.

Нижний край солнца потемнел, стал вишневым, и на него нашло узкое, как стрела, уже не золотое, а лиловое облако. Теперь на дорогу бросали тени не только столбы и кустарники, но и высокие травы, кучками стоящие за обочиной. Дорога была полосата, и голубоватая «Победа», вынырнув слева «эмки», как по шпалам, понеслась вперед, дымя розовой, тонкой, как пудра, красивой пылью. Следя за ней, Лиза первая заметила дымки впереди. Это, конечно, Весняна... У нее сжалось сердце... Слева от дальних домиков бесшумно взлетел султанчик пара, преобразился в гриб и растаял в воздухе. Только тут дошел гудок паровоза.

Услышав его, Кузнецов не торопясь отвернулся от дяди Сева и, пригнув голову, всмотрелся в дорогу. Вскоре машина свернула влево, на проселок, и поехала прямо на закат. Запахло влажной травой, клевером, стало прохладнее. Небольшое взгорье с редкой рощицей заслонило солнце, и прямые клены, стоящие на краю взгорья, со всеми подробностями — с ветвями, с длинными ножками листьев и с пятипалым узором самих листьев, — отчетливым силуэтом обрисовались на темно-красном чистом и далеком фоне.

Машина остановилась. Все молча вышли, и усатый шофер, откинув сиденье, стал подавать глиняные горшки с цикламенами и гиацинтами.

По узкой, пологой тропинке вслед за Кузнецовым все стали подниматься в гору. Витя с шофером шли последними. У Вити руки были свободны, и он, сорвав травинку и натянув ее между сложенными большими пальцами, сильно подул на нее. Раздался дребезжащий писк. Софья Васильевна, морщась, оглянулась, и Витя быстро отнял руки от губ. Неопределенно улыбаясь, шофер погладил его по голове.

Еще не останавливаясь, но уже замедляя шаг, Кузнецов, шедший первым, снял белую фуражку. Вслед за ним, ничего еще не различая, перехватив горшки с цветами одной рукой, обнажил голову и дядя Сева. Софья Васильевна приближалась к ним, пристально и озабоченно ловя взгляд Кузнецова; и когда она заме-

тила, куда он смотрит, с тем же, только более напряженным выражением лица стала смотреть туда же. Лиза из-за спины матери все уже увидела и, закусив губы, шла, рассматривая пушистые, в бледных иголочках листья цикламенов, которые она, держа двумя руками, несла впереди себя. Прозрачная капля упала на лист, и из-за иголочек не скатилась, так и лежала, как роса.

Холмик был аккуратно обложен свежим зеленым дерном, обсыпан кругом желтым песком. Тесовая скамейка без спинки стояла слева.

...Когда прошли первые минуты, мужчины стали устлавливать цветы по краям дерна. Софья Васильевна сидела на скамейке и, отнимая платок от глаз, что-то шепча изменившимся голосом, показывала рукой с платком, куда лучше поставить тот или другой горшок. Привалившись к ней, пряча лицо, рядом сидела Лиза.

Осторожно отстранившись от дочери, Софья Васильевна подошла к Кузнецову, который стряхивал с колен песок, и, смотря на него влажными, благодарными глазами, спросила все тем же невнятным, изменившимся голосом:

— Это вы... скамейку, дерн? Да? Совсем свежий...

Когда стали спускаться по тропинке к машине, вспомнили про Витю. Всем почему-то казалось, что он тоже был там, наверху. Его позвали. Он поднялся откуда-то из-за кустов и, прутком стегая впереди себя траву, отворачивая голову, пошел напрямик без тропинки — к машине. Как только уселись, Софья Васильевна испытующе взглянула на сына и с растерянной улыбкой привлекла его к себе, и он, никого не стыдясь, вдруг громко заплакал.

Не успела машина тронуться, пошел дождь, все сразу заблестело вокруг. Лиза, нагнув голову, посмотрела наверх. Из машины был виден только край тучи, темно-багровый, но не страшный на чистом вечернем небе. Солнце почти зашло, на землю уже легла тень, но клены на взгорье еще держали закатный свет. Серо-синий полог вечера, медленно набирая высоту, стал охватывать небо.

В кабине стоял полумрак, тишина, было слышно, как в левое окно задувает ветер, упругий, теплый. Взгорье с кленами давно скрылось, версты легли, а оно все стояло перед глазами... Софья Васильевна вдруг сказала как бы про себя:

— Как странно, мы тогда прочли: «Без вести...»

Она знала со слов Кузнецова, что, приехав в часть, он на второй же день был тяжело ранен и в безнадежном состоянии отправлен в далекий тыл. И тогда, когда он смог о событии, происшедшем на станции Весняна, написать в часть подполковника Тоидзе, вероятно, было или поздно — уже послали извещение родным, — или у части переменялся номер почты. Возможно и другое: почта и канцелярия войны работали не безгрешно, но гибли, умирали и они... Она знала все это, но после строки на граните и сейчас, после свежего дерна, свежего песка, — после зримой памяти о нем, — как-то странно было то, давнишнее: «Без вести...»

Лиза следила за мокрыми кустами, мелькавшими за окном машины. Мамины слова о «без вести» напомнили ей о той комнате у Натальи Феоктистовны. Были там, ничего, конечно, с мамой не нашли, все новое, все другое — остались лишь стены, когда-то видевшие его... Ничего в руках на память не унесли, но шли не пустые: память об отце за эти дни была уже другая, большая — не только для них, родных ему... То смутное, новое чувство к отцу, которое подступило, когда она слушала Кузнецова в клубе, вдруг стало сейчас ясным, светлым. Да, она гордится... Лиза вспомнила человека в меховой куртке — там, в Москве, над столом — и опять вернулась к мыслям об отце.

Тут, в полумраке машины, отец возник строгий, сильный... Нет, сильный по-другому, решительный, неотступный... Неотступный, как тот, на санях, в меху, со стрелкой компаса на норд, только на норд... «Вариант один, и он не обсуждается!» — говорил отец. В этот миг он, конечно, видел и маму, и ее, и Витю, но было и другое, еще большее — огромная, бескрайняя страна, которая сейчас за минной камерой лежала в февральских снегах, под нежарким зимним солнцем. Она затихла, ждет его, верит ему. И он кладет руки на желтый ящик... Папа!..

* * *

Когда подъехали к плотине, был уже вечер. Дождь давно прошел, на темном небе прорезались звезды, и блики их рябили на воде, у бычков. Низ плотины был погружен во тьму, но проезжая часть сияла огнями —

шли отделочные работы. «Эмка» уперлась в полосатый шлагбаум, и при свете фар была видна пожилая сторожиха, что-то вязавшая быстрыми, блестящими на ярком свете спицами.

Кузнецов и Всеволод Васильевич вышли из автомобиля покурить. Их окликнули из «Москвича», тоже ждущего переезда. Они еще не подошли к машине, как навстречу им из низкой дверцы показался высокий, в светлом костюме Аверьянов. Всеволод Васильевич спросил его, когда же будет двухстороннее движение, чтобы не ждать у шлагбаума. Тот, улыбаясь, ответил, что скоро — как залиют асфальтом. Но улыбка его относилась не к ответу, а к чему-то другому, так как он, продолжая улыбаться и уже не слушая, что ему говорят, подошел к фаре «Москвича» и, вынув из кармана бланк телеграммы, поманил к себе Всеволода Васильевича и Кузнецова.

— Вот сейчас только получена, — сказал он. — Помните пароход «Руслан», который первый прошел наш шлюз, обновил? Так вот, его капитан Рудниченко уже прислал телеграмму.

— *«Прибыли в порт Долгожданный, — стал читать Всеволод Васильевич, — выгрузили долго ожидаемое; грузимся долго лежащим. Завтра морская волна будет бить в корму. С попутным зephyром, так быстро на вашем шлюзе не ожидаемый Рудниченко».*

Шлагбаум поднялся, навстречу проехали короткоте-
лые, с порожними кузовами автокары, от которых потянуло теплом и запахом горячего асфальта. Те, кто стоял у переезда, разошлись по своим машинам.

* * *

Миновав аванкамерный мост, «эмка» въехала на плотину. Лиза стала считать бычки, но сбилась. Была и другая примета: доска соревнования — от нее третий пролет... И, когда машина поравнялась с этим пролетом, Лиза представила, почувствовала: сейчас вот под ней, внизу, у воды, — седьмое донное...

На следующий день после вечера в клубе, после Кузнецова, она с Павеличевым ходила к плотине, и он с берега показал — он все знает — седьмой туннель. Уже не его самого, а место, где он был. Туннель этот давно открыт, пропустил сквозь себя воду и теперь снова забетонирован. Но в четвертом — Павеличев сказал «труд-

ном» — туннеле еще шла заделка, и по четвертому, по темному, ничего не говорящему огромному квадрату она увидела далекий февральский полдень в седьмом донном...

Павеличев в тот вечер уезжал, и, помявшись, он спросил ее московский адрес. Это было впервые для нее — подруги и мальчики не спрашивали, и так знали. А тут было по-настоящему записано в большой блокнот... Они поднялись по берегу, и на скользком крутом месте Павел, как и в первый день, подал ей руку...

Сейчас он уже в Москве или, может, в разъездах, и она вот едет над седьмым донным, едет от кленов, от свежего дерна...

И мысли вернулись к сегодняшнему — к станции Весняна...

Дома, после длинной, в оба конца, дороги, всем захотелось спать, и Лизе тоже, но она, наскоро выпив чаю, перебралась за угловой, укромный стол и засела за письмом к Варе и Светлане. Квартира затихала, а ее сон стал отходить.

...Снова в потушенном зале возник человек, спускающийся в люльке, вспомнились и сомнения, и надежды, и поиски... И последнее, сегодняшнее: машина едет на солнце — и вдруг взгорье, клены... Да, найден, но не тот, кто был в воспоминаниях и сомнениях. Она не счастлива — ведь его нет, — но она не может быть не счастливой, что узнала, нашла такого... Да, у него тоже был свой «курс — норд», и она теперь в своей жизни желает только одного: быть такой же, не отстать... Это много, возможно ли это? Хотя бы только стараться...

От неожиданных мыслей письмо было путаным, а от волнения длинным. Но Лиза знала, что подруги и поймут его и дочитают до конца.

2

Прошло месяца полтора.

Стоял уже август, лето, перевалив через вершину, не убавило ни тепла, ни зелени, только перед рассветом у открытых окон несмело, будто просясь, появлялся ветерок и тут же уходил. Давно сошли желтая черешня, ягоды, держались еще абрикосы, много было яблок. Появлялись на базарных рогожах замыкающие лето и фруктовый караван толстые арбузы.

Наталья Феокистовна говорила Софье Васильевне, что все это пустяки, это и в Москве можно найти, а надо взять с собою местных помидоров. Маленькие, овальные, вроде слив, и, как сливы, с тонкой кожицей, они и в маринад, и в соленье, и так просто — прелесть...

Они сдружились за это время. Наталья Феокистовна поняла, что сестра Всеволода Васильевича обыкновенная женщина, только с какой-то душевной загородкой. И не на все личное, а только на то, где могут появиться слова сочувствия, грустный вздох... И Наталья Феокистовна не затрагивала этого. И, если заходил разговор о станции Весняна, говорила об этом просто, как об обыкновенном. Так она порекомендовала плотника, который хорошо, добросовестно может сделать там ограду...

Софья Васильевна была благодарна ей не столько за то, что та поняла, чего не надо касаться, сколько за ту легкость, естественность и незаметность, с которой Наталья Феокистовна обходила это. И как-то она сказала брату:

— Вы ведь дураки, женитесь на молодых и красивых! А ведь надо на тонкой, благородной душе. И я не понимаю, чего ты медлишь.

Всеволод Васильевич был некоторым образом задет, обижен: помимо всего, он считал ее и молодой и красивой. Но промолчал. Сестра, поняв его, стала оправдываться: он не так ее понял, она говорила о главном, чего он, может быть, и не видит. Брат даже возмутился: как не видит!.. Это возмущение и рассмешило Софью Васильевну и уверило: теперь скоро...

* * *

За полтора месяца Лиза получила от Павеличева на завьяловский адрес четыре письма — и все из разных мест. В последнем, уже из Москвы, он просил ответить. Это было трудно. Варе она писала одним махом, не перечитывая, а тут пришлось с тремя черновиками, так как не знала, что отвечать.

Он сообщал о работе, о разъездах, о разных местах; в одном письме было сказано — в Завьяловске ему понравилось больше всего. А о чем писать ей? О пляже, о кино, о чтении книг для школы — в общем, о безделье. Но в третьем черновике письмо неожиданно получилось очень умное.

Накануне, посмотрев с дядей и с Натальей Феоктистовной «Месяц в деревне», она вдруг с жаром обрушилась на героев пьесы. Как можно целый месяц только то и делать, что выяснять, кто кого любит и кто кого не любит! Это ужасно! Это позорно! Да что месяц — это только одно название у пьесы, — а на самом деле у этих людей и вся жизнь была такая бездельная... Да, она тоже сейчас ничего не делает, если не считать помощи матери по хозяйству и чтения для школы, но, во-первых, у нее каникулы, а во-вторых, ей самой совестно...

Тут Лиза по своему прямодушию почувствовала: нет, ей не совестно, — и зачеркнула это. Пришлось зачеркнуть и «во-первых» и «во-вторых» и написать просто: «потому что каникулы». А у тех была вся жизнь такая... Нет, мы совсем другие люди, мы не можем, просто не умеем сидеть сложа руки! Наша эпоха...

Письмо было большое, обстоятельное, Лизе оно очень понравилось — умное. Павел поймет, оценит — это не бантики, не цветочки! Испортил дядя Сева: когда письмо было уже отослано, он как-то в разговоре сказал, что писать письма на линованной бумаге — это пошло. А она как раз на линованной! Кто же знал!

Но потом оказалось, что письмо подгуляло не только потому, что она писала по линейкам. Павел ответил: ведь это получается, что «месяц в деревне» был всеобщим, от мала до велика! А построенные города! А дворцы! А Великий Сибирский путь! А ученые? А тот же Лизин Седов?..

Она тотчас, уже без черновиков, принялась отвечать... Неужели она так написала? Или он так понял? Великий Сибирский путь — это была только подробность из географии не то в пятом, не то в шестом классе: желтой указкой надо было долго вести с запада на восток... Но Седов был живой, близкий, его любил отец, и неужели Павел подумал, что она могла так подумать?..

Письмо было начато в дни отъезда, и мать не дала дописать — то туда сходить, то это сделать.

— Завтра с утра никуда не уходи! — сказала Софья Васильевна. — В десять часов Алексей Христофорович пришлет машину.

Лиза знала: завтра, в последний раз — в последний перед отъездом — поедет к станции Весняна...

Было условлено — Кузнецов предложил: в десять часов он придет из района в обком, и, пока будет идти совещание, Софья Васильевна с детьми съездит туда на машине. Вечером позвонил со строительства Аверьянов: «Слышал, послезавтра уезжаете. Может быть, надо машину к Михаилу Михайловичу?» Софья Васильевна поблагодарила — уже есть.

Наутро в своей не старой, но уже устаревшей для глаза четырехугольной «эмке» приехал сам Кузнецов.

— Мой вопрос на совещании, оказывается, в самом конце, — сказал он, неторопливо двигая толстыми губами. — А у нас поговорить любят. Так что за три часа не спеша мы вполне...

Там, как и в прошлые приезды, стояла затененная кленами тишина, изредка доносились со станции гудки паровозов. Пахло лесной земляникой — ягоды уже сошли, но где-то от их листьев, нагретых солнцем, тянуло прежним ароматом.

Ограда, хотя и деревянная, получилась прочная, основательная, с засмоленными внизу столбами; маленькая калитка, ведущая внутрь, открывалась легко, без скрипа. Одни цветы осыпались, другие пошли в цвет: принялся, хотя и не вовремя посаженный, шиповник...

Все было чисто, прибрано вокруг, цветы политы, и Софья Васильевна вспомнила про Аграфену Ивановну из железнодорожного поселка, которая все это — и не первый уж год — не забывала. Она ее видела в прошлые приезды, знала, что Алексей Христофорович давно договорился с ней, но теперь-то уж не Кузнецов, а она хотела бы поговорить с Аграфеной Ивановной. Но все откладывала этот разговор, не зная, как отнесется к нему Алексей Христофорович.

На обратном пути к машине она заговорила об этом, и Кузнецов сказал:

— Я вас понимаю, вам хочется самой заботиться... Да это и ваше право. Но я тут буду ближе, и надо ли с Аграфеной Ивановной заново договариваться? Она ко мне уже привыкла... А так — считайте меня только управляющим! — добавил он.

Софья Васильевна приостановилась, пристально взглянула на Кузнецова и вдруг обняла его.

На следующий день уезжали.

Поезд формировался в Завьяловске: в вагоне было свободно, прохладно, пахло недавно вымытыми полами. Уложили вещи, будто примериваясь, сели на свои места. Софья Васильевна оправила салфетку на столике. Всеволод Васильевич пришел от проводника и объявил, что чай будет, как только поезд тронется. Он сказал это, смотря не на сестру, а на Наталью Феокистовну. Та рассмеялась и поспешила обратиться к Софье Васильевне:

— На корзинку с помидорами ничего не надо класть!

Кузнецов молчал, но потом сказал, что на станции Лахтино, которая будет через час, надо покупать не цыплят, а вареную кукурузу — умеют там делать.

Затем все впятером сидели на нижних полках — Витя был уже на верхней, щелкал выключателями — и вели отрывистый, перебегающий с одного на другое разговор, обычный разговор перед прощанием. А потом наступили те неизбежные даже при расставании с близкими людьми минуты, когда все сказано, а поезд еще не уходит... И тут идут повторы.

— Помидоры лучше на третью полку, — сказала Наталья Феокистовна, — а тут они могут помяться.

В коридоре послышался шум, и Всеволод Васильевич, сидящий ближе к выходу, заглянул за дверь. Он встал, улыбаясь и кивая головой. У входа в купе появился высокий Аверьянов со шляпой и свертком в руке, за ним — полный, степенный, в сером костюме начальник строительства Лазарев. Позади черноволосый, черноглазый человек, в котором Всеволод Васильевич узнал Панайотова, известного по местной газете кессонщика с левого берега.

У Аверьянова, видимо, были приготовлены какие-то официальные слова, но всякие возгласы: «пройдите», «сядьте», «как устроились», нарушили все. Кроме того, по вагону прошел вислоусый проводник, предупреждая провожающих. Аверьянову надо было торопиться. Отложив шляпу и поглядывая на Софью Васильевну, он развернул серую холстинку на свертке и тут же отвел руку.

Небольшая, в полметра длиною, модель плотины

лежала у него на ладони. Она была искусно вырезана из какого-то светлого дерева и шла легкой полудугой, матово блестя рубчиками-бычками. Внизу, в середине модели, между двумя бычками, был пунктиром обведен крошечный квадратик и стояла цифра «7»...

По коридору к выходу прошли провожающие, пробежал носильщик. Аверьянов поднес Софье Васильевне модель со словами:

— Просим принять от строительства...

Софья Васильевна и Лиза вместе протянули руки, но с верхней полки быстро спустилась другая, с обкусанными ногтями, и Витя, приговаривая: «Я только посмотрю!» — поднял модель к себе.

Потом Софья Васильевна и Лиза стояли у спущенного окна, выходящего на перрон к провожающим.

Оставалось две-три минуты.

Всеволод Васильевич, украдкой и как бы подшучивая над собой, показал сестре глазами на локоть Натальи Феокистовны, который он неловко, но бережно поддерживал, и улыбнулся, как бы говоря: «Вот видишь!» Но вслух сказал сестре другое:

— Родственники, которые подхалимы, бегут за поездом до самого семафора. Но у тебя брат честный человек и будет стоять на месте.

Неожиданно между палевым платьем Натальи Феокистовны и темным костюмом Кузнецова появился загорелый хмурый мальчик в трусиках и майке. Софья Васильевна быстро обернулась назад, в купе:

— Витя, Глеб пришел!

Витя, оставив модель, скатился с полки:

— Где он? — и подбежал к окну.

Выяснилось, что Глебка на вокзал шел пешком. Аверьянов пригласил Софью Васильевну приезжать на будущее лето — станция будет во всей силе. Со значительным видом прошествовал по перрону главный кондуктор. Начальник строительства Лазарев внушительно, как бы приказывая, сказал Софье Васильевне, что в Лахтине надо купить новые дыни «колхозница» — маленькие, круглые, но необыкновенные. Кузнецов, неодобрительно выслушав это, повторил о кукурузе. Пробежала женщина с двумя белесыми одинаковыми девочками. Раздался свисток. Провожающие по всему перрону отступили от вагонов.

Неожиданно слева в соседнем окне Витин выкрик:

«Юриспруденция!» А вон Глебка, поднимаясь на цыпочки, громко, радостно-отчаянно в ответ: «Корпуленция!»

Поезд трогается.

На перроне мелькают платки, руки. У Софьи Васильевны все смешалось — все вместе: и со всеми ли простилась, и так ли поблагодарила Аверьянова, и не забыли ли чего из вещей, и почему это Глебку не догадались подвезти, и что это за дурацкие слова они выкрикивали...

Втроем у окна. Как часто бывает в небольших городах, сразу за вокзалом показалась свежая зелень, редкие домики с огородами, переходящими в луга. Вскоре поезд подкатил к мосту через реку, и отсюда стала видна далекая плотина — маленькая, как эта, в купе. После моста уже свободно, просторно и надолго открылось чистое поле...

* * *

Часто в семье моряка на шкафу стоит кораблик — модель того, на котором плавал отец.

В Москве, в одной из квартир на Большой Якиманке, на верхней книжной полке светлой полудугой лежит крошечная плотина. Когда я бываю в этом доме, останавливаюсь перед нею. Там, у себя на родине, она уже в полной, даже в умноженной силе, а поблизости от нее и подальше нарождаются другие, новые. Куда же отнести эту, деревянную?.. Нет, не в тень воспоминаний, куда обычно причаливает шкафный кораблик, а вперед и дальше — к живым строителям и солдатам.

1949—1954



О Г Л А В Л Е Н И Е

| | |
|---|-----|
| В. Анкудинов. Об авторе этой книги . . . | 3 |
| <i>Глава первая.</i> Началось это в Москве... . . . | 9 |
| <i>Глава вторая.</i> Муж и отец. Курс — норд . . . | 30 |
| <i>Глава третья.</i> «Ша» лучше «ка». Павеличев . | 46 |
| <i>Глава четвертая.</i> «Следуйте за мной!» . . . | 58 |
| <i>Глава пятая.</i> У Лизы — тоже новое | 71 |
| <i>Глава шестая.</i> «У кого дети — уйдите!» . . . | 84 |
| <i>Глава седьмая.</i> Некий майор | 100 |
| <i>Глава восьмая.</i> Четыре часа пополудни. «Там папа...» | 111 |
| <i>Глава девятая.</i> Записи в дневнике | 130 |
| <i>Глава десятая.</i> Неотступный, как тот на санях... | 178 |

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Николай Яковлевич Москвин

СЛЕД ЧЕЛОВЕКА

Повесть

ИБ № 4367

Ответственный редактор В. А. АНКУДИНОВ.

Художественный редактор Н. З. ЛЕВИНСКАЯ.

Технические редакторы Н. И. ЛУКОВА и Л. Н. НИКИТИНА.

Корректоры Г. Ю. ЖИЛЬЦОВА и Е. И. ЩЕРБАКОВА.

Сдано в набор 05.08.80. Подписано к печати 14.01.81. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр. отт. 10,34. Уч.-изд. л. 10,52. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2084. Цена 50 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Москвин Н. Я.

М82 След человека: Повесть/Предисловие В. Анкудинова; Рис. С. Бродского и Н. Лавецкого.— Переизд.— М.: Дет. лит., 1981.— 191 с., ил.

В пер.: 50 к.

Приключенческая повесть о поисках пропавшего без вести героя — офицера инженерных войск, о легендарных подвигах саперов в дни Великой Отечественной войны, о мужестве советских людей на фронте и в тылу.

М 70803—005
М101(03)81 463—81

Р2

50 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»